



## Гоголевский Акакий Акакиевич: имя и судьба

*В. А. КОРШУНКОВ,  
кандидат исторических наук*

“Вы сами понимаете, что всякая фраза досталась мне обдумываньями, долгими соображеньями, что мне тяжелей расстаться с ней, чем другому писателю, которому ничего не стоит в одну минуту одно заменить другим”, – писал Н.В. Гоголь 30 октября 1842 года А.В. Никитенко (Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1952. Т. 12. С. 112). “Он никогда не бывает доволен своим произведением, всё ему кажется мало, и он беспрестанно его усиливает, поправляет, переписывает”, – так определял существенную особенность творческой манеры Гоголя психолог И.Д. Ермаков (Ермаков И.Д. Очерки по анализу творчества Н.В. Гоголя. М.-Пг., 1923. С. 44). А прекрасный знаток гоголевского творчества Андрей Белый в одной из своих статей писал, что Гоголь “как никто употреблял много усилий на отделку каждой детали, каждой мелочи. Нет у него в тексте ни одной случайной подробности...” (Белый А. Непонятый Гоголь // Вопросы философии. 1990. № 11. С. 94). Тогда резонно спросить себя, почему главному герою повести “Шинель” дано такое редкостное и причудливое имя – Акакий Акакиевич?

Персонажи Гоголя – это колоритно обрисованные цельные характеры. По словам Ю.Н. Тынянова, они – «маски, резко определённые, не испытывающие никаких “переломов” или “развитий”» (Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 204). И Гоголь очень заботился о том, чтобы оживающие под его пером, почти физически воплощающиеся на глазах читателя характеры получали подобающие им приметные прозвища. Чичиков и Хлестаков, Ноздрёв и Манилов, Земляника и Яичница, Кифа Мокиевич и Мокий Кифович, Хома Брут и Пифагор Чертокуцкий, Сквозник-Дмухановский и Неуважай-Корыто, Иван Фёдорович Шпонька и Никифор Тимофеевич Дееспричастие...

В произведениях Гоголя имена и фамилии, как правило, не дают прямой оценки свойств и качеств того или иного персонажа, но весьма выразительно его характеризуют, добавляя образу любопытные штрихи. Ю.В. Манн, отмечая, что «многие гоголевские фамилии явно содержат в себе некие “говорящие” элементы: лекарь Гибнер, частный пристав Уховёртов...», подчёркивал, что перед нами не “любое называние порока или добродетели (...) подчас с недвусмысленной и подчёркнуто резкой моральной оценкой, а некое его характерологическое качество, некое вытекающее из него действие или свойство (Уховёртов! мы, так сказать, всей своей кожей чувствуем те последствия, которыми грозит встреча этого лица с обывателями...)” (Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996. С. 113). В своём эссе “Николай Гоголь” В.В. Набоков точно подметил: “Фамилии, изобретаемые Гоголем, – в сущности клички, которые мы нечаянно застаём в тот самый миг, когда они превращаются в фамилии...” (Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 60). Интересно сравнить суждение писателя с отрывком из записей М.М. Бахтина: “Гоголь. Мир без имён, в нём только прозвища и клички разного рода” (Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 378). И.Д. Ермаков в этой связи говорил о “фамилиях-символах” у гоголевских персонажей (Ермаков И.Д. Указ. соч. С. 201–202). А у Набокова находим: “Сама фамилия Хлестаков гениально придумана, потому что у русского уха она создаёт ощущение лёгкости, бездумности, болтовни, свиста тонкой тросточки, шлёпанья об стол карт, бахвальства шалопоая и удалства покорителя сердец (за вычетом способности довершить и это и любое другое предприятие)” (Набоков В.В. Указ. соч. С. 68).

Наличие у героя “Шинели” необычного имени Акакий Акакиевич гоже не случайно, оно оттеняет значимые, определяющие черты его характера. Сам писатель в начале повести так говорит об этом: “Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени...” Здесь, как нередко у Гоголя, маска простодушного рассказчика примеряется им для того, чтобы затушевать существенные детали повествования, отвлечь, увести от них читателя. Однако читатель внимательный, принявший правила литературной игры и приносившийся к лукавой гоголевской манере, тут-то и будет настороже: «Серьезно переданное объяснение повествователя (...) иронически освещается и получает прямо противоположный смысл: имя героя как раз было “выискано”» (Кривонос В.Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя. Воронеж, 1981. С. 74). По суждению С.Г. Бочарова, “имя... *выискано*, то есть подчёркнуто специально придумано автором: в самом его звуке громко сказывается личный тон автора...” (Проблемы типологии русского ре-

ализма. М., 1969. С. 231). И ведь далее рассказчик опять нас уверяет: сами, мол, извольте видеть, “что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно”. Что же за необходимость такая? А вот что, с готовностью откликается повествователь: «Родительнице предоставили на выбор любое из трёх, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребёнка во имя мученика Хоздазата. “Нет, – подумала покойница, – имена-то всё такие”. Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. “Вот это наказание, – проговорила старуха, – какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы ещё Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий”. Ещё перевернули страницу – вышли: Павсикахий и Вахтисий. “Ну, уж я вижу, – сказала старуха, – что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий”. Таким образом и произошёл Акакий Акакиевич». *Такие, какие, таких, так, таким...* И вслед за этим бормотанием, за миг до того, как имя было, наконец, матерью названо, оно уже, полагает Д. Ранкур-Лаферрьер, выговорилось в её словах: “...называться, как и отец...” (Rancour-Laferriere D. Out from under Gogol’s Overcoat. Ann Arbor, 1982. P. 97).

“Его такая судьба”, – горестно вздохнула родительница, приняв случившееся за своего рода звание. Нелепое это имя указывает на судьбину родившегося человека – на тяготно серую нелепую его жизнь и нелепую смерть. “Ребёнка окрестили, причём он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник”. По словам В.И. Шенрока, Гоголь “несомненно руководился здесь тонким художественным расчётом, изображая гонение судьбы на бедного будущего титулярного советника, начавшееся с самого появления его на свет” (Шенрок В.И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1893. Т. 2. С. 106). *Nomen est omen* – имя есть предзнаменование, говорили древние...

Но почему всё же рассказчик упорно настаивает, будто “другого имени дать было никак невозможно”? Ведь речь шла об имени, весьма непривычном даже для гоголевского времени. Неказистый и скромный чиновник вполне мог бы именоваться, скажем, Соссием Трифилиевичем. И тогда прихотливая выспренность обозначения контрастировала бы с убожеством самого персонажа, а улыбка читателя повести обращалась бы в смех сквозь слёзы. Но наш титулярный советник не Соссий и не Варахасий. Он – Акакий Акакиевич. “В искусстве случайного нет: имя косноязычного героя действительно заикается”, – писал об Акакии Акакиевиче Виктор Шкловский (Шкловский В.Б. Избранное: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 310). Но дело не только в этом. Измышленное имя-отчество персонажа воспринимается русским читателем как авторское на-

мерение рассместить. В черновом варианте “Шинели” Гоголь, по всей видимости, и сам принимал в расчёт такую возможность: “Конечно, можно было некоторым образом избежать частого сближения буквы *к*, но обстоятельства были такого рода, что никак нельзя было этого сделать”. Опять скороговорка про некие обстоятельства, но за сумятицей слов уже различима неотвратимая поступь судьбы. По поводу затейливого имени-отчества несчастного чиновника Б.М. Эйхенбаум говорил, что “Акакий Акакиевич – это определённый звуковой подбор”, это имя “звучит уже как *прозвище*, скрывающее в себе звуковую семантику” (Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969. С. 313–314). А современные западные литературоведы-психоаналитики, “как бы резвяся и играя”, уже готовы усматривать в гоголевском персонаже, извините, “кусочек фекалий”, а его рождение находят возможным уподобить испражнению... Столь выисканное сравнение стало общим местом в психоаналитических исследованиях гоголевской прозы. Ещё семьдесят пять лет назад сходным образом толковал “Шинель” русский врач-фрейдист И.Д. Ермаков в своих “Очерках по анализу творчества Н.В. Гоголя” (см.: Указ. соч. С. 133–163). У него нередки и тонкие проникновения в суть и смысл гоголевского текста (так, он уловил подспудно звучащую в “Шинели” тему необходимости, предопределённости судьбы), но при этом Ермаков складывал образ Акакия Акакиевича из всевозможных комплексов самого автора повести, которые, по его мнению, отразились в этом гоголевском персонаже. А в причудливых именах: Моккий, Соссий, Хоздазат и всех прочих – Ермаков обнаружил не что иное, как “уместные для младенца названия – мокрый, сосёт, зад, в Трифилии есть что-то растянутое, в Дуле – дура по-детски...” (С. 161). Всерьёз обсуждать такие прозрения вряд ли необходимо.

Сводится ли приметное это имя только к забавному звукоряду? Может быть, следует обратить внимание и на буквальный смысл имени Акакий? Оно греческое. “По-гречески *какос* – дурной, злой; *какон* – зло. Обобщённо-абстрактные понятия в древнегреческом нередко выражаются существительными среднего рода во множественном числе: *кака* – зло; бедствие, несчастье; порок”. “Акакос” по-гречески значит “незлобный, добрый, невинный, простодушный” (Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. 2 изд. СПб., 1882. Стлб. 649, 37). Тот, кого так называли, – в буквальном смысле, человек, не имеющий злобы и вины, простая душа. Но ведь это и есть характеристика гоголевского героя! Он простодушен до глуповатости. Его единственное развлечение – домашнее переписывание скучных казённых бумаг: “Там, в этом переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир”. Когда же ему было доверено не просто переписать, а немного подправить текст документа, он не смог с этим справиться... Он незлобив до голубиной кротости. «Только если уж слишком была невыносима шут-

ка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он проносил: “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?”». Не отвечая на жестокие насмешки, он был беззлобен и до конца жизни не имел за собой никакой вины. В черновом наброске “Шинели” Гоголь выражался ещё жёстче и определённое: “В существе своём это было очень доброе животное, и то, что называют благонамеренный человек – ибо и в самом деле от него почти не слыхали ни дурного, ни доброго слова”. Ю.Н. Тынянов писал, что словесная маска того или иного гоголевского персонажа может раздваиваться, и при этом “решающую роль играют звуковые повторы” (Тынянов Ю.Н. Указ. соч. С. 203). И приводил перечень примеров: Люлюков, Бубуницын, Тентетников, Чичиков (уж не вызван ли длинный ряд подобных фамилий звучанием фамилии самого Гоголя?). И далее: Иван Иванович, Пифагор Пифагорович, Пётр Петрович Петух... Перечень вполне можно было бы дополнить именем-отчеством героя “Шинели”. Однако примечательно и то, что подобное же удвоение встречается в обозначении других гоголевских персонажей и тоже с прозрачными греческими именами: Евтихий Евтихиевич (буквально: счастливый) и Елевферий Елевфериевич (буквально: свободный). Что-то вроде Счастливейшего и Дважды Свободного. Вот и наш герой, по замечанию О.Г. Дилакторской, “кроткий и незлобивый в квадрате” (Дилакторская О.Г. Фантастическое в “Петербургских повестях” Н.В. Гоголя. Владивосток, 1986. С. 168). Короче, – Акакий Акакиевич. Под стать имени была и фамилия, которой снабдил его Гоголь в первоначальном варианте повести – Тишкевич. Уже потом Тишкевич превратился сначала в Башмакевича и, наконец, в Башмачкина.

Таково было предсказание его судьбы в его имени. По этому тихому руслу и текла неприметная жизнь гоголевского героя вплоть до самого её конца. И только накануне его смерти история с шинелью стала менять весь образ жизни и характер незлобивого и тишайшего чиновника. Акакий Акакиевич испытывается искушением, наваждением, своего рода вожделением и страстью. Навязчивые грёзы о шинели и затем обладание ею лишают его былой аскезы, прежнего душевного уюта и спокойствия. Гоголь явно даёт почувствовать читателю бесовскую природу этой смуты и этого морока, которые и довели изменившего себе Акакия до скорой смерти. Или лучше сказать – до гибели. Примечательно, что поддразнивающее русское ухо детское словечко *кака*, запятанное в этом греческом имени, возникло у Гоголя и в финале повести “Ночь перед Рождеством”, там им называли “чорта в аду”... Так что уточним: Акакий Акакиевич был до поры до времени не просто чужд зла, он был непричастен злу религиозно осмысленному – тому самому чёрту, противостояние которому ощутимо в подоплёке сочинений писателя...

Но всё же нужно выяснить, насколько вероятным было для Гоголя буквальное прочтение с греческого языка смысла имени Акакий.

Знакомые Гоголя были единодушны в том, что знанием языков он не блистал. Вот и по мнению А.Н. Веселовского, “искренним, глубоким знатоком европейской мысли он не мог быть уже вследствие крайне скудного своего образования... Иностранные языки, кроме итальянского, плохо давались...” (Веселовский А.Н. Западное влияние в новой русской литературе. М., 1910. С. 200). Но давайте сразу уточним: эти суждения подразумевают сравнение Гоголя с другими видными людьми его эпохи и обращены они к интеллигентной русской публике прошлого и начала нынешнего века...

В Нежинской гимназии высших наук кн. Безбородко Гоголь художественно, но освоил французский язык, познакомился с азами немецкого и латыни. Языки ему и впрямь не давались: на уроках латыни он предпочитал сидеть на задней парте, “чтобы там под шум и гам переводов из латинской хрестоматии свободно читать какой-нибудь литературный журнал или альманах, или же строчить какую-нибудь карикатуру” (Вересаев В.В. Гоголь в жизни. М.–Л., 1933. С. 60). А до приезда в Петербург после окончания гимназии он “едва ли мог понимать без пособия словаря книгу на французском языке” (Там же. С. 70). Тогда как его одноклассник Нестор Кукольник (впоследствии ставший популярным писателем), ещё будучи гимназистом, “брал из основной библиотеки книги для чтения на языках французском, немецком, итальянском” (Там же. С. 64). А вот Гоголь изучил итальянский гораздо позже, когда подолгу жил в Италии. В списке книг Гоголя отмечены издания французские, а немецких нет вовсе. Но, судя по выданному гимназией аттестату, его успехи в немецком были оценены как хорошие (Жданов И.Н. История русской литературы: Н.В. Гоголь. Б.м. 1904. С. 82). Кажется, он неплохо знал и польский (Десницкий В.А. Статьи и исследования. Л., 1979. С. 105). В аттестате, выданном Гоголю по окончании гимназического курса, есть оценки по латыни, немецкому и французскому, а графа “греческий язык” оставлена без отметки (Вересаев В.В. Гоголь в жизни. С. 73). Однако, греческий в Нежине, конечно же, преподавался. Кстати, Гоголь как-то рассказывал княгине В.Н. Репниной об одном своём гимназическом профессоре – греке Иеропесе. Дескать, этот грек “читал студентам Гомера, которого никто из них не понимал...” (Там же. С. 67). Известно, что в 1845 году, живя в Париже, Гоголь вместе с учителем-эллинистом Ф.Н. Беляевым изучал труды отцов церкви на греческом языке (Воропаев В.А. Духом схимник сокрушённый... М., 1994. С. 22–23). В том же году, будучи во Франкфурте у В.А. Жуковско-го, Гоголь, но свидетельству А.О. Смирновой, даже помогал ему в переводе Гомера, поскольку, дес, “отлично знал греческий язык” (Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 60; Вересаев В.В.

Гоголь в жизни. С. 332). Выходит, что Гоголь знал, по крайней мере, два новых языка и был знаком с основами языков древних. Этого, пусть и неглубокого, знания древних языков достаточно для того, чтобы, подобно Онегину, “эпиграфы разбирать”. И уж, конечно, для того, чтобы разбирать значение греко-латинских имён.

Впрочем, ещё более вероятно, что просвечивающий в судьбе Акакия Акакиевича смысл его странного имени мог быть определён Гоголем не напрямую из греческого языка, а через посредство богослужебных книг. В церковных справочниках о днях почитания того или иного святого приводилось значение их имён (*Акакий* – “незловивый”. – Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Ч. I. М., 1913. С. 720). Да и обстоятельный рассказ о выборе имени новорождённому указывает на житийную литературу, которая в то время была обычным чтением верующих людей. Такой глубоко религиозный человек, как Гоголь, несомненно, хорошо знал жития святых. Одновременно с работой над “Шинелью” Гоголь заканчивал первый том “Мёртвых душ”, а там целый ряд эпизодов восходит к житиям (Маркович В.М. Петербургские повести Н.В. Гоголя. Л., 1989. С. 184–185, 191–192). Уже обращалось внимание на некоторое сходство жития святого Акакия Синайского и сюжета “Шинели”. Кажется, первыми заметили это западные исследователи, а в последние годы такое сравнение стало общепризнанным и в отечественной науке. Возможно, что история святого Акакия была известна Гоголю из книги Иоанна Лествичника “Лествица райская”: житие включено в это сочинение, которое Гоголь хорошо знал и ценил (де Лотто Ч. Лествица “Шинели” // Вопросы философии. 1993. № 8. С. 58–83).

В житии рассказывается, что некий ленивый и злой старец имел “молодого ученика, по имени Акакия, простого нравом и целомудренного умом, который так много зла терпел от того старца, что многим даже покажется это невероятным, ибо старец не только укорами и бесчестьем досаждал ему, но и всякий день мучил его телесными истязаниями”. Однако Акакий был терпелив и покорен: “своей безропотной выносливостью и незловивым страданием снискал себе благодать Божию, освобождающую его от вечного мучения”. И после своей смерти он явил чудо, которое потрясло старца-мучителя и побудило того покаяться. Когда преподобный отец вместе со старцем пришёл к скелету, где покоилось тело умершего Акакия, и спросил: “Брат Акакий, умер ли ты?”, «благоразумный послушник, – сказано в житии, – обнаруживая послушание и по смерти, ответил: “Не умер, отче, ибо тому, кто обязался творить послушание, невозможно умереть”». Услышав это, старец так испугался, что упал со слезами на землю; потом “попросил у игумена келлию возле его гроба и, затворившись в ней, прожил ещё благочестиво, заботясь о спасении души и, после многих подвигов, ото-

шёл ко Господу Богу, Которому слава во веки” (Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней св. Дмитрия Ростовского. М., 1905. Кн. 3. С. 803–804). И обусловленность имени, и общее сходство жития с фабулой “Шинели” очевидны. Но очевидно и другое: хотя загробное существование Акакия Акакиевича имеет явную аналогию с посмертным чудом святого Акакия Синайского, содержание этих эпизодов противоположно по своему смыслу.

Первоначальный вариант повести был озаглавлен Гоголем иначе: “Повесть о чиновнике, крадущем шинели”. Уже по названию видно, что авторский замысел отнюдь не сводился к жизнеописанию “маленького человека”. Повесть не обрывается смертью персонажа. “Собственно на этом и можно было кончить повесть”, – заметил Н.Л. Степанов (Степанов Н.Л. Н.В. Гоголь. М., 1955. С. 279). С этим трудно согласиться. Важнейшая, неотъемлемая часть повести – её взрывное, неожиданное и фантазмагорическое завершение: после смерти Акакия Акакиевича на व्यюжных петербургских улицах стало появляться привидение, срывавшее с прохожих и проезжих их шинели. Так продолжалось до тех пор, покуда нападению не подверглось “значительное лицо” – тот самый высокопоставленный начальник, который накричал на приходившего к нему за защитой Акакия Акакиевича и стал невольным виновником его смерти. «...Рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнёс такие речи: “А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да ещё и распёк, – отдавай же теперь свою!”».

В этом внезапном посмертном бунте незлобивый и безвинный Акакий Акакиевич нежданно вырывается за узкие пределы предопределённой его именем судьбы.

*Киров*



**Ещё раз об Угрюм-Бурчееве  
и  
революционных демократах**

*Заметки на полях комментария*

*Г.В. ЗЫКОВА.*

*кандидат филологических наук*

Прототипом Угрюм-Бурчеева из “Истории одного города” М.Е. Салтыкова-Щедрина традиционно считают Аракчеева; такое голкование, возможно, помимо всего прочего связано и с тем, что сам писатель упоминает об Аракчееве в журнальном варианте своей сатиры, в примечании к главе “Эпоха увольнения от войн” (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1969. Т. 8. С. 576). Однако ощущается некоторая недостаточность этой трактовки: несмотря на неискоренимость “аракчеевского элемента” в поведении российской власти, всё же в либеральное царствование Александра II воспоминания об Аракчееве (особенно в последней – ударной – главе) были не очень актуальны. Сравнительно недавно М.В. Строганов обратил внимание на лежащий, в сущности, на поверхности факт: в образе Угрюм-Бурчеева отражён деспотизм и российской власти и русских революционеров. «Во второй половине “Истории” настойчиво упоминается фаланстер, который “выстроил бы в Глупове” Бородавкин, если бы “прожил подольше”, ибо он “был утопист”». Далее, “нивелиатор старого закала” Угрюм-Бурчеев сравнивается с современными, у которых “мысль о сочегании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию...”.

“Здесь явный намёк на утопических социалистов (прежде всего Фурье) и их последователей – вплоть до Веры Павловны Кирсановой-Лонуховой с её фалангой. Отношение Щедрина к утопическому социализму сложилось ещё в 1840 годы и не изменялось на протяжении всей его жизни” (Строганов М.В. О финале “Истории” // “Шести-

десятью годами” в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина. Калинин, 1985. С. 77–78).

М.В. Строганов указывает, что “параллель фаланг Фурье и аракчеевских поселений есть и у современника Щедрина” – его знакомого С.Н. Кривенко; по мнению исследователя, это доказывает либо естественность такой ассоциации, либо то, что в щедринском тексте такая ассоциация на самом деле была заложена, и он сумел внушить её читателям (Там же. С. 80).

И вот здесь нам и хотелось бы сделать некоторые уточнения – расширить контекст “Истории”. Дело в том, что сближение крайних правых и крайних левых начиная с 60-х годов прошлого века стало почти общим местом русской публицистики, полемическим приёмом многих, считавших себя свободными от узкопартийного фанатизма (именно такими людьми “вне партии” ощущали себя в 70–80-х годах, например, поздние славянофилы). М.Н. Катков в 1861 году в статье “Старые боги и новые боги” рискнул, провоцируя скандал, отождествить В.И. Аскоченского и Н.Г. Чернышевского: и тот и другой требуют слепого подчинения. “Кто выдаёт себя за мыслителя, тот не должен принимать на веру, без собственной мысли, ничего, ни от г. Аскоченского, ни от Бюхнера, ни от Ивана Яковлевича, ни от Фейербаха” (Русский вестник. 1861. № 2).

Однако самым выразительным комментарием к “Истории одного города” могут быть, как нам кажется, “Былое и думы” А.И. Герцена. Несмотря на общеизвестность текста, позволим себе привести несколько цитат.

Глава “Молодая эмиграция”: «...мы невольно узнаём переднюю, казарму, канцелярию и семинарию по каждому их движению и по каждому слову.

Бить в рожу по первому возражению, если не кулаком, то ругательным словом, называть Ст. Милля *ракальей*, забывая всю службу его, – разве это не барская замашка, которая “старого Гаврилу за измятое жабо хлещет в ус и рыло”? Разве в этой и подобных выходках вы не узнаете квартального, исправника, станового, таскающего за седую бороду бурмистра? Разве в нахальной дерзости манер и ответов вы не ясно видите дерзость николаевской офицерщины, и в людях, говорящих свысока и с пренебрежением о Шекспире и Пушкине, – звучат Скалозуба, получивших воспитание в доме дедушки, хотевшего “дать фельдфебеля в Вольтеры”? (...)

...странную почву приготовили царская опека и императорская цивилизация в нашем “тёмном царстве”» (Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. XI. С. 351–352; опубли. в 1870).

Герцен судит так не только о социалистах “нашего тёмного царства”; Гракха Бабёфа, например, он сравнивает уже прямо с Аракчеев-

вым. Подробно процитировав страшноватый проект одного из декретов Бабёфа, Герцен в главе “Роберт Оуэн” заключает: «За этим так и ждёшь “*Питер* в Сарском Селе” или “граф *Аракчеев* в Грузии” (...) Бабёф хотел людям *приказать благосостояние...*» (Там же. С. 239, 244; опубл. в 1861).

Вообще именно образ Аракчеева (а не просто “императорской цивилизации”) постоянно появляется у Герцена, когда он в главе “Русские тени” говорит о диктаторских склонностях русских революционеров: “Мы большие доктринёры и резонёры. К этой немецкой способности у нас присоединяется свой национальный, так сказать, *аракчеевский* элемент, беспощадный, страстно сухой и охотно палачествующий. Аракчеев засекал для своего идеала лейб-гвардейского гренадёра живых крестьян; мы засекаем идеи, искусства, гуманность, прошедших деятелей, всё, что угодно. Неустрашимым фронтом идём мы, шаг в шаг, *до чура* и переходим его, не сбиваясь с диалектической ноги, а только с *истины*; не замечая, идём далее и далее, забывая, что реальный смысл и реальное понимание жизни именно и обнаруживается в останке перед крайностями... это – *halte*, граница (*франц.*) – ред.) меры, истины, красоты, это – вечно уравновешиваемое колебание организма” (Там же. Т. X. С. 320; опубл. в 1867).

Итак, сравнение нигилиста и Аракчеева придумано не Щедриным, а, следовательно, для Щедрина вполне возможно отнестись к этому сравнению как к **чужому слову** (с которым, как известно, он так активно работал). У Щедрина сравнение тирана и социалиста встречается часто – не только в “Истории одного города”, но и, например, в “Пошехонских рассказах”: «Отец Клубкова был одним из тех прозорливых пошехонцев, которые всегда предпочитали “дело” мечтаниям. (...) Поэтому он, ещё задолго до эмансипации, устроил у себя при усадьбе *фаланстер* (курсив наш. – Г.З.), в который и заточил всех крестьян, а вслед за тем записал их в ревизию под наименованием дворовых» (Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. соч. Т. 15. Кн. 2. С. 113). Здесь уже дело не столько в обличении ложных утопий (обывательских представлений об этих утопиях), сколько в иронической игре с **чужим словом**, с **чужой шуткой**. Отчётливый идеологический смысл этой игры, пожалуй, сформулировать трудно. Недаром критика Писарева так раздражала безыдейность Щедрина: “...вы видите перед собою только смешные слова (...) Г-н Щедрин всегда смеётся от чистого сердца, и смеётся не столько над тем, что он видит в жизни, сколько над тем, как он сам рассказывает и описывает события и положения...” (Писарев Д.И. Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 347, 340).



*Религиозный символ  
в поэтическом контексте С. Есенина*

*О.Е. ВОРОНОВА,  
кандидат филологических наук*

Неустанный языкотворческий поиск, которым отмечена поэзия Сергея Есенина, связан со стремлением к активному использованию всех ресурсов национального языка, включая язык Церкви. Современники вспоминали, что при всей неоднозначности и сложности отношения поэта к религии одной из постоянных настольных его книг была Библия. Говоря об истоках своих “символистских” увлечений, Есенин подчёркивал: «Я этот “символизм” ещё в школе мальчишкой постиг. И знаешь откуда? Из Библии (...) И какая прекрасная книжица, если её глазами поэта прочесть! (...) Было мне лет двенадцать – и я всё думал: вот бы стать пророком и говорить такие слова, чтобы было и страшно,

и непонятно, и за душу брало. Я из Исаии целые страницы наизусть знал. Вот откуда мой “символизм”» (Рождественский Вс. Сергей Есенин // С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1986. Т. 2. С. 124).

Опыт прочтения Библии “глазами поэта”, знание наизусть многих церковных текстов с их яркой словесной орнаментикой и возвышенной духовной символикой особенно пригодились поэту в “богоискательский” период его раннего творчества, а также в создании целого цикла “необиблейских” поэм 1917–1918 годов. Стихи и статьи Есенина этого периода свидетельствуют о том, что само поэтическое творчество он склонен был воспринимать как некое священнодействие, как вечное евхаристическое “причастие тайн”, где образ “пресуществляется” в символ, а слово – в Логос.

Библейские имена и топонимы становятся в его творчестве этих лет устойчивыми мистериальными символами “нового Рождества”, “новой Голгофы”, “нового Фавора”. Революционную семантику очистительной гибели и искупительной жертвы во имя грядущего получают традиционные “христологические” символы “креста” и “купели”. Раскрывая смысл революционных событий сквозь призму Священной истории, в категориях библейского космоса, поэт стремится стать провозвестником новой спасительной веры “без креста и мук”, апостолом новой эпохи: “Так говорил по Библии / Пророк Есенин Сергей” (“Инония”).

Столь дерзкая творческая задача требовала от Есенина колоссальных художественных усилий. Бросая своеобразный вызов библейским пророкам, поэт стремился по существу достичь того, что удавалось лишь редким художественным гениям – “вырваться из пределов тварной речи к Логосу” (Котельников В. Язык Церкви и язык литературы // Русская литература. 1995. № 1. С. 11). Иначе говоря – создать собственный духовный “тезаурус”, закрепить в читательском сознании творчески переосмысленные духовные символы. И, как ни трудна эта задача, он с удивительной языкотворческой интуицией ищет и находит слова, по собственному его выражению, “протянутые” “от тверди к вселенной” (“Отчее слово”).

Поэт стремится сформулировать своё духовно-нравственное кредо, выразить кратко и ёмко собственную “формулу веры”. Попробуем проследить за этим процессом “преображения” обыкновенного “плотного” слова в духовный символ, причастный божественному Логосу.

**“Правда сошьего креста”.** Неявная евангельская аллюзия, с которой начинается стихотворение “Алый мрак в небесной черни...” (1915), заключает в себе перифрастический смысл: сошествие Св. Духа на учеников Христа в виде “огненных языков” явилось, как известно, знаком их благословения свыше на апостольское служение. Осенённый мисти-

ческим “алым мраком”, открывает в себе способность пророчествовать о будущем и лирический герой стихотворения:

И придем мы по равнинам  
К правде сошьего креста  
Светом книги голубиной  
Напоить свои уста.

“Правда сошьего креста” – сердцевина православного нравственно-религиозного идеала, по-есенински образно понятого. Как же рождается в языковой материи стиха этот образ, преисполненный глубокого духовного смысла?

По всей видимости, путём семантического преобразования отвлечённой генитивной метафоры (“правда... креста”), перифрастически выражающей один из ключевых моментов христианского вероучения. Окказиональный же смысл вносится в контекст метафоры её третьим именованным членом – прилагательным *соший*, посредством которого всё образное единство приобретает характер индивидуально-авторского символа. Образ “сошьего креста”, построенный на зрительно-ассоциативном восприятии крестьянской сохи, выступает своеобразной “эмблемой” земледельческого труда, усиливая экспрессивный символический подтекст всей образной конструкции. В результате происходит сближение двух исторически и лингвистически родственных понятий, укоренённых в генезисе национального самосознания: “крестьянин” – “христианин”. Важно и то, что есенинская “формула веры” (“правда сошьего креста”) в данном поэтическом контексте оказывается созвучной традиции народного правдоискательства, отражённой в упоминаемом здесь духовном стихе о “Голубиной книге” – этой “опозитивированной сокращённой Библии” (Мочульский В. Историко-литературный анализ стиха о “Голубиной книге”. Варшава, 1887. С. 232).

Можно предположить, что есенинские “соха” и “крест” – это полемическая жизнеутверждающая антитеза блоковскому трагическому символу “розы” и “креста”. Используя приём “компрессии” смысла, Есенин создаёт сложное символическое целое, объединившее в некий жизнеобъемлющий духовный комплекс извечную правду человеческого труда на земле с истинностью христианских заповедей.

“Тайна острова безначальных слов”. Это сложное структурно-семантическое целое, встречаемое нами в поэме “Пришествие” (1917), вполне заслуживает того, чтобы стать предметом исследования. В основе лиро-эпического сюжета поэмы – оригинальный авторский миф о втором пришествии Христа, завершающемся трагедией нового распятия. При этом новый крестный путь Спасителя ещё более трагичен, чем первый, так как высший смысл “второй Голгофы” открыт только ему, и разделить это новое трагическое знание ему не с кем:

Но пред тайной острова  
Безначальных слов  
Нет за ним апостолов,  
Нет учеников.

Что это за “тайна острова” и о каких “безначальных словах” идёт речь?

Вновь перед нами окказиональное символическое целое, создаваемое на метафорической основе. В своей целостности оно заключает в себе идею повторного, на этот раз тайного обета, принесённого есенинским Христом во имя спасения человечества. Из каких же семантических компонентов складывается этот в итоге неразложимый смысловой синтез, рождающий впечатление некой сгущённой “эзотерической” формулы?

Такой эффект проявляется во многом потому, что каждое из четырёх слов этого словосочетания отмечено, говоря есенинскими словами, “мистически помазанным значением над ним” (“Ключи Марии”), то есть имеет устойчивый семантический ореол, закреплённый Священным писанием и богослужебными текстами. Так, слово *тайна* употребляется в Новом завете в строго определённом значении и контексте: как “тайна Царствия Небесного” (Мф. 13, 10–11), “тайна Христова”, “тайна Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения”, “Слово Божие, тайна, сокрытая от веков и родов” (Кол. 1, 25–26; 2,3; 4,3). “Тайна сия велика” (Еф. 5,32) и открыта только посвящённым.

Иносказательная духовная символика заключена и в образе *острова*: в Библии он неоднократно ассоциируется со спасительной твердой веры в бушующем море безверия и неправды (Деян. 27,26). В исследованиях А.Н. Афанасьева, хорошо известных Есенину, указана ещё одна примечательная грань религиозно-мифологической семантики этого образа: “Небесное царство представлялось воображению окружённым со всех сторон водами, то есть островом” (Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избр. статьи. М., 1982. С. 189).

Однако словосочетание *тайна острова* само по себе не несёт в поэтическом тексте религиозного смысла, а приобретает его только благодаря специфически духовной семантике контекстуально неразложимого бинарного сочетания *безначальных слов*, составляющего смысловую сердцевину символического целого. Его сакральный смысл связан с идеей Логоса как начального акта миротворения (“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог” – Ин. 1,1) и воплощением предвечного (то есть безначального) Слова Божия в образе Мессии.

“Безначальным” в богослужебных текстах называют и Бога-отца (см., например, в Литургии Василия Великого: “Безначальне, невиди-

ме, непостижиме, неописанне, неизменно Отче Господа нашего Иисуса Христа...”), и Спасителя (см. обращение “Безначальный и Присносуший Свете...” в “Акафисте Иисусу Сладчайшему”, икос 7).

Бинарное сочетание “безначальное (собезначальное) Слово” как метафорическая перифраза имени Христа также встречается в церковной гимнографии, например, в одном из тропарей, кратко излагающем евангельское повествование о его крестном пути: “Собезначальное Слово Отцу и Духови, от Девы рождающееся на спасение наше, воспоим, вернии, и поклонимся, яко благоволи плотию взыти на крест, и смерть претерпети, и воскресити умерших славным воскресением своим” (“Тропари воскресные, глас пятый”).

Есенинский Христос трагически одинок перед ему одному ведомой тайной своего второго пришествия в мир, своего нового призвания, нового Послания, которое он несёт людям.

Так с помощью ёмкой символической формулы “тайна острова безначальных слов”, заключающей в себе многозначный перифрастический смысл, поэт сумел выразить глубоко волновавшую его мысль о трагической непостижимости всей полноты предвечного замысла о мире.

“Корабль звезды”. В финале поэмы “Октоих” (1917), художественно воскрешая духовную семантику и стилистику евангельского Апокалипсиса, “пророк Есенин Сергей” возвещает братьям-мирянам “услышанное” им божественное Откровение, сердцевину которого составляет загадочная формула:

Но тот, кто мыслил девой,  
Взойдет в корабль звезды.

Это один из самых ярких индивидуально-авторских (оказиональных) символов, созданных творческой фантазией и духовной интуицией поэта. В структурном отношении он напоминает генитивную метафору, каждый член которой обладает самостоятельной семантикой. В современной лингвопоэтике такое явление художественной речи квалифицируется чаще всего как метафора-символ, то есть “мотивированное семантически сопоставление двух значений, которые сливаются в одно целое, но одновременно указывают на какое-либо третье значение” (Сергеева Е.В. Метафора и метафора-символ в поэтическом цикле А.А. Блока. Л., 1990. С. 7).

Для выявления синтезирующего смысла этого “третьего значения” проанализируем семантику каждого члена словосочетания с точки зрения духовного генезиса образов “корабля” и “звезды”.

“Символ корабля, – отмечает один из ведущих православных богословов Л. Успенский, – в далёкой древности обозначал путешествие души в потусторонний мир. Корабль стал символом Церкви, плывущей

по волнам житейского моря, а также символом души, ведомой Церковью” (Успенский Л. Первохристианское искусство // Журнал Московской патриархии. 1958. № 8. С. 53).

Явлением Вифлеемской звезды, как известно из Евангелия, было возведено рождение Христа. В православной иконографии образ “звезды” использовался и как символ приснодевства Пресвятой Богородицы, и как символ духовного света Фаворского, преображения Мессии перед своими учениками в знак обетования грядущих судеб спасённого им человечества.

Вполне закономерно, что образы “корабля” и “звезды” тесно связаны с символикой православного храмостроительства: “Часто храм устраивается в виде продолговатого *корабля*, это означает, что Церковь, подобно кораблю, по образу Ноева ковчега, ведёт нас по морю жизни к тихой пристани в Царстве Небесном. Может храм быть устроен и в виде восьмиугольника, как бы *звезды*, означающей, что Церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире” (Закон Божий. М., 1993. С. 480).

Символика “корабля” и “звезды” широко используется и в евангельских текстах, а также в православной литургической традиции. Так, в “Откровении Св. Иоанна” Спаситель и Судия говорит о себе: “Я есмь ... звезда светлая и утренняя” (Откр. 22, 16). В “Акафистах Пресвятой Богородице” оба слова используются в качестве устойчивых метафорических перифраз, относящихся к Богоматери:

“Радуйся, Звездо, являющая Солнце!” (Икос 1);

“Радуйся, кораблю хотящих спастися; радуйся, пристанище житейских плаваний...” (Икос 9).

То же самое наблюдаем и в перифрастических именованьях Христа в “Акафисте Иисусу Сладчайшему”: Христос торжественно именуется “звездой незаходимой” и “плавающих кормчим” (Икос 10).

Попутно заметим, что в поэзии Есенина метафорический потенциал образов “корабля” и “звезды” далеко не всегда использовался в религиозном контексте. Для сравнения напомним примеры последовательного художественного развёртывания метафоры “земля-корабль” в стихотворениях “Письмо к женщине”, “Капитан земли” или образ “звезды-судьбы” в стихотворении “Гори, звезда моя, не падай...”. Однако в анализируемом нами случае Есенина интересовала в образах “корабля” и “звезды” прежде всего их духовно-религиозная семантика, отвечающая художественным задачам его “библейского” цикла.

Создавая яркий поэтический образ “корабля звезды”, Есенин опирался на весь многослойный семантический “орбел” этих традиционных христианских символов, умножающих содержательную ёмкость друг друга и порождающих в результате новый, синтезирующий смысл. В этом новом, “третьем” значении есенинский образ символизирует

весь спасённый мир, грядущее Богочеловечество, мировую общину верующих, “мысливших Девой”, то есть хранивших в душах святой образ Богоматери и следовавших заповедям Христа. Лишь они, по мысли поэта, удостоются войти в этот “летучий корабль”, в этот спасительный “Ноев ковчег” грядущего Апокалипсиса.

Объединяя семантику движения, заключённую в образе корабля, со значением неподвижности, нетленности, вечности, традиционно сопутствующим образу звёзд, Есенин, казалось бы, нарушает основной принцип метафоры, соединяющей слова на основе сходства. Однако именно в этом и заключается сверхзадача поэта. Семантическая слитность всей образной конструкции как раз и основывается на противоречивом единстве её компонентов, на их внутренней антитезе, антиномии, актуализирующей скрытые, глубинные взаимосвязи духовных явлений. “Корабль звезды” призван выполнить особую миссию: соединить несоединимое, мир земной и небесный, мир тленный и вечный.

Таким образом, семантическое преобразование метафоры путём смысловой “компрессии” рождает в поэтической системе Есенина вышедший тип тропа–символ, причём с нетрадиционной, окказиональной семантикой. Религиозная “маркированность” лежащих в основе его понятий благодаря тому же “наложению” смыслов приобретает дополнительную семантическую многослойность и многозначность, являя собой новый языковой синтез, новый духовный смысл. И воплощается в живой стихии родного языка заветное кредо Сергея Есенина: “У прозревших Слово есть постижение огня над ним...” (“Отчее слово”).

*Рязань*





## МЕТАФОРИЧНОСТЬ ОККАЗИОНАЛЬНОГО СЛОВА

*Эр. ХАН-ПИРА,  
кандидат филологических наук*

Окказиональное слово (лексический окказионализм), или как нередко пишут, авторский неологизм, – это слово, образованное по малопродуктивной, непродуктивной, а то и вовсе неизвестной языку (окказиональной) словообразовательной модели. Лексические окказионализмы – слова, созданные из языкового материала, но в язык не вошедшие. Они факты речи, а не языка, речевые слова. Если язык их принимает, то они теряют статус окказиональных слов. Но что значит “принимает”? Это значит: носители языка, то есть говорящие, пишущие и думающие на данном языке, воспроизводят эти слова в своей речи. Воспроизводят не цитатно, не как слова, созданные тем или иным конкретным лицом (например, Салтыковым-Щедриным или Маяковским), а как обычные слова.

Может ли окказиональное слово уже в момент своего возникновения обладать метафоричностью? Ведь метафорическое значение возникает в итоге переноса названия одного предмета (предмета в широком смысле, предмета как объекта мысли) на другой предмет, сходный с первым по форме, по функции или связанный с ним ассоциациями: ср. (тормоз-

ной) *башимак*, *бородка* (ключа), (финансовые) *пирамиды*, (синие, красные, зелёные) *чернила*, (да будет тебе) *каркать*, (эх, ты) *шляпа* и т.п. А в случае с окказиональным словом, только что возникшим, у которого, можно сказать, и истории-то ещё нет, о каком переносе этого окказионального названия одного предмета на другой можно говорить?

Возьмём строчку Маяковского “сливеют губы с холода...” (“Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка”). Это что – перенос названия одного действия на другое: *сливеть* на *синеть*? *Синеть* здесь – это “становиться, делаться синим”, а *сливеть* – “становиться, делаться синим, как спелая слива”. Переноса названия нет. Или вот у Маяковского же: “В норах мистики вели ему *мышиться*” (“Мысли в призыв”), “... не летим, а *молнымся*” (“150 миллионов”), “... звенят, *молнятся* целые цепи брелоков” (“Человек”), “... канителью исходящей *нитясь*” (“Фабрика бюрократов”), “*Обфренчились* формы костюма ладного” (“Дачный случай”), “*Разлунивши* лысины лачки” (“Четырёхэтажная халтура”), “... этих Ротшильдов, от жира *освиневших*” (“Жид”), “То розовым, то голубым *акварелит* небо хрусталик Араратика” (“Пятый Интернационал”), “Публика сидит и тихо *шейдеманит*” (“Мистерия-буфф”, 2-й вариант) и т.д.

И тут никакого переноса названия нет. На этом основании я в прежних работах о лексических окказионализмах отказывал им в самой возможности метафоричности. И ошибался. Они могут быть метафоричны. Но каким образом? Ясно, что не путём переноса названия, то есть не называнием окказиональным словом иного предмета, напоминающего своей формой, функцией или по ассоциации тот, что обозначен лексическим окказионализмом.

Всякая метафора, как известно, – скрытое сравнение. У слов языка, получивших метафорические значения, сравнение плохо, как сказать, спрятано. И потому, толкуя в словарях эти значения, обычно не упоминают тех предметов, сравнению с которыми они обязаны своим появлением. А попробуйте истолковать приведённые примеры из Маяковского без включения в число сем (составных частей лексического значения) основ тех слов, от которых образованы эти лексические окказионализмы. *Обфренчились* – “стали как у френча”, *молнымся* – “летим со скоростью молнии”, *молнятся* – “сверкают молнией” и т.п.

Метафоричность окказионального слова порождается не переносом названия, а употреблением производящей основы как обозначения объекта сравнения, уподобления. Иначе говоря, метафоричность окказионального слова возникает вместе с ним. Поэтому вряд ли корректно говорить о лексическом окказионализме, обладающем метафоричностью, как о слове с переносным значением: у этого слова никогда не было прямого значения, потому что не было у него переноса. Оппозиция: прямое – переносное – здесь, видимо, неуместна.

Теперь зададимся вопросом: как соотносится метафоричность окказиональных слов с фактом существования языковых и авторских метафор. Напомним: различают языковые (узуальные) и авторские (окказиональные) метафорические значения слов языка. Например, *голова* (сыра), *голова* (колонны), *тяжёлый* (взгляд) и т.д. – языковые метафорические значения. Зачастую носители языка и не осознают их метафоричности: ср. *ручка* (двери), *ножка* (стола), *хвост* (самолета) и др. Авторские метафорические значения не принадлежат языку. Они факт речи. В числе языковых значений данного слова нет значения (значений), в котором (в которых) его может употребить автор. Вспомним лермонтовское *степью лазурною*; есенинское *увял головы моей куст*; *ветер мокрыми мётлами чистит ивняковый помёт по лугам*; *изба-старуха челюстью порога жуёт пахучий мякиш тишины* и т.д.

Авторские метафорические смыслы известных языку слов и метафорические значения неизвестных языку слов – явления, различающиеся механизмом порождения: первые создаются переносом уже существующих названий, вторые возникают вместе со словом.

И последний вопрос. Каждое ли окказиональное слово метафорично? Нет, не каждое. Например, у Маяковского *иззахолустничается* (“Мрак”) имеет значение “превратится, сделается захолустьем” (ср. *истрепаться, испоганиться, истаскаться*). Здесь нет сравнения: основа слова *захолустье* употреблено не как название объекта сравнения. *Пересоперничать* (“Как я её рассмешил”) употреблено в смысле “победить в соперничестве”; *сеятьба* (“150 миллионов”) как синоним *сева* (ср. *молотьба, косьба*). Или вот: “И так *зафельтоньте* здорово, чтобы любая *автодура* вошла бы в лоно *автодорова*” (“Работникам стиха и прозы, на лето едущим в колхозы”); “*Мокроживотые* женщины потной горою сидят” (“Облако в штанах”, вариант строки).





## Ностальгия по весне

*Перечитывая раннего Б. Окуджаву*

*Л.Л. БЕЛЬСКАЯ,*

*доктор филологических наук*

*Ветер принёс издалека  
Песни весенний намёк...*

*А. Блок*

Булат Окуджава – поэт моей молодости. До сих пор помню, как была счастлива, когда неожиданно и случайно получила в собственность его книгу “Март великодушный” (1967), и как завидовали мне мои друзья, не сумевшие её достать (ибо книги тогда “доставали”).

С каким восторгом впитывала я свежую, весеннюю, оттепельную атмосферу сборника, полную надежд и упований! И вслед за автором воображала себя то “дежурным по апрелю”, то лесником, старающимся не прозевать весны, то “последним богом”, умеющим прощать, и чувствовала, что живу, “как будто в половодье”.

Б. Окуджава дарил нам, шестидесятникам, “надежду на добрую весть” и сам строил “замок надежды”. Он уговаривал: “Зачем отчаи-

ваться, дорогой?” И знакомил с тремя сёстрами и “судьями милосердными” – Верой, Надеждой и Любовью, готовыми открыть “бессрочный кредит” и для нас. И мы верили поэту и повторяли за ним: “Когда бы не было надежд – на чёрта белый свет?”

Мне был по душе песенный и музыкальный колорит “Марта великодушного”, в котором чуть ли не впервые были опубликованы тексты хорошо известных нам окуджавских песен, и мы сожалели, что их было всего около 20, в то время как мы знали гораздо больше. И в стихах тоже звучала музыка (и они подчас становились песнями), играли оркестры – от “надежды маленького оркестрика под управлением любви” до “чайных ложек целых оркестров”, на разные голоса пели инструменты: скрипки и кларнеты, трубы и фаготы, валторны и тромбоны, вплоть до свирели и дудочки. А при этом автор признавался: “Я играть не умею. Я слушаю только”. И когда впоследствии Окуджава будет утверждать, что для него музыка “даже выше, чем искусство слова”, соглашаться с ним не захочется, поскольку в окуджавском тройственном союзе: поэт – композитор – певец – на первом месте всё-таки стоит поэт, недаром почти все его песни писались на готовые стихи.

Но не меньше, чем музыкой, восхищался Окуджава живописью и мастерством художников, описывая процесс их труда и его плоды, наполняя свою поэзию многоцветьем красок. Он разъяснял нам значение каждого цвета: белый – начало, чёрный – конец, красный – пламя, зелёный – листва и ветки, жёлтый – “всё созрело”, серый – “осень в небо плеснула свинец”, синий – “вечер птицей слетел на ладонь”. А главное – “Перемешай эти краски, как страсти, в сердце своём...” (“Как научиться рисовать”). Этот по-детски наивный рецепт вызывал отклик в наших душах, как и “Песенка о Пиросмани” и “Детский рисунок” с его лиловой лошадкой, зелёной гривой, золотым подорожником и голубым петухом. Глаза останавливались на разноцветных вступительных “аккордах” к стихотворениям: “Синяя крона, малиновый ствол, / звяканье шишек зелёной” (“Прощание с новогодней ёлкой”), “Красный петух. Октябрь золотой. Тополь серебряный” (“Тиль Уленшиггел”). Особенно нравились мне (и нравятся до сей поры) “Живописцы”, посвящённые художнику Ю. Васильеву: “Живописцы, окуните ваши кисти / в свету дворов арбатских и в зарю...”, и просьба к ним нарисовать “наши судьбы”.

Ничего, что мы – чужие.

Вы рисуйте!

Я потом, что непонятно,

объясню.

Об этой песне сам Окуджава писал: “Совсем не умею рисовать, но очень люблю краски. Когда-то мне нравилось накладывать на холст

разные краски” (Песни Булата Окуджавы. Мелодии и тексты. М., 1989. С. 99).

Больше всего нас, молодых, привлекала у Окуджавы романтика любви. В дальнейшем выяснилось, что он “из протеста против пуританского ханжества <...> решил воспеть женщину, как святыню, пасть пред ней на колени” (Там же. С. 80). Но уже тогда чувствовалось его рыцарское, трепетно-нежное и бережное отношение к женщине и к любви: “Эта женщина! Увижу и немею” и “очарованный лик” (слышались отзвуки А. Блока: “И вижу берег очарованный / И очарованную даль”), “след удивлённой любви, вспыхнувшей, неуголённой”, “Часовые любви на Смоленской стоят”. А “Тьмою здесь всё занавешено...” (позднее “Ваше Величество Женщина”) напоминало блоковскую “Незнакомку”, только являлась она не среди пошлости и суеты загородного ресторана, а в тёмной, бедной комнатке: “Тусклое здесь электричество, / с крыши сочится вода”. И ироническая концовка – но не “истина в вине”, а перепуганное время и пространство.

Кто вы такая? Откуда вы?!  
Ах, я смешной человек...  
Просто вы дверь перепутали,  
улицу, город и век.

Почему помнится это сравнение с Блоком? Может, потому, что заметила, кого выбрал Булат Окуджава в свои спутники, в “путеводительные маяки”, и отметила необычность выбора (Вийон, Киплинг, Блок) и нетрадиционный взгляд на школьных классиков. Пушкин “губаст и учён, как чёрт”, “ему было за что умирать / у Чёрной речки” (“Счастливирик”), Лермонтов простил и Мартынова, и царя, но не терпит середины, упрощает не верить в его убийство (“Встреча”). Грибоедов ринулся, “срывая очки, как винтовку – с плеча, / и уже позабыв о себе, / прокричать про любовь навсегда, сгоряча / прямо в рожу орущей толпе!...” (“Грибоедов в Цинандали”).

... И вот спустя 30 лет я вновь беру в руки потрёпанную, уже давно без суперобложки, читанную-перечитанную книжку. Открыв её, вижу фотографию молодого Булата, и у меня сжимается сердце. Перелистываю страницы и наугад выхватываю строки:

Умереть –  
тоже надо уметь,  
на свидание к небесам  
паруса выбирая тугие.  
Хорошо, если сам,  
хуже, если помогут другие. <...>  
И о чём толковать?  
Вечный спор  
не решил ни Христос, ни Иуда...

Если там - благодать,  
что ж никто до сих пор  
не вернулся с известьем оттуда?

Сейчас читаешь эти стихи по-иному, чем когда-то, замечая не только их ироничность, но и трагедийность, и скептическую настроенность. А сам поэт через четверть века напишет:

И когда ударит главный час  
и начнется наших душ поверка,  
лишь бы только ни в одном из нас  
прожитое нами не померкло.  
(“В Иерусалиме первый снег”, 1992)

И ловишь себя на мысли, что *поверяешь* ранние окуджавские вещи поздними и воспринимаешь первые сквозь призму его последующего гворчества, включая историческую и автобиографическую прозу, вплоть до последних стихов. И когда перечитываешь “Опустите, пожалуйста, синие шторы” (“Три сестры”), сразу бросаются в глаза те изменения, которые позднее внёс автор. Вместо:

Чистый-чистый живу я в напльвах рассветных,  
перед самым рождением нового дня...  
Три сестры, три жены, три судьи милосердных  
открывают бессрочный кредит для меня...

стало:

Чистый-чистый лежу я в напльвах рассветных,  
белым флагом струится на пол простыня.  
Три сестры, три жены, три судьи милосердных  
открывают последний кредит для меня.

Песня обретает новое звучание и смысл: взамен встречи с рассветом – ожидание близкой смерти.

А стихотворение “Франсуа Вийон” (“Пока Земля ещё вертится...”), превратившись в песню “Молитва”, перестало ассоциироваться с именем французского “барда” – бунтаря и бродяги и приобрело как более лирический и личный характер (“Господи мой боже, зеленоглазый мой!” – обращение к любимой женщине), так и одновременно более общий, философский: “как веруем и мы сами, не ведая, что творим!”, “дай рвущемуся к власти навластоватьсь властью...”. Прежде мы искали и находили злободневные и опасные намёки “между строк”. Да и писатели “шли навстречу” читателям, нередко пользуясь “эзоповым языком”. Теперь в этом нет нужды. Но как трудно отвыкнуть от этой привычки!

На прежнее восприятие окуджавских стихов наслаивается новое, к молодым впечатлениям добавляются зрелые, менее романтические – с



бя (ёлку. – Л.Б.) сняли с креста, и воскресенья не будет”, “С Духом святым, и Отцом, и Сыном по магазинам... по магазинам...”, “...Сто раз я нажимал курок винтовки, а вылетали только соловьи”. Или радующая и слух, и ум игра слов, каламбур: “Каину дай раскаяться”, “качнётся, как очнётся”, “краб, распластавшийся, как раб”, “ель – уходящий олень”, “густая грусть”. А насмешливые сентенции: “Острословов очкастых не любят цари...”, “Круглы у радости глаза и велики – у страха”, “Сто дорог с собою кличут – одна из них душит”, “Шуршат, шуршат карандаши / за упокой живой души”.

Теперь я обнаруживаю “перелицованные” цитаты (“А когда осенний дождик частый бубнит, как столетний дед” – ср. у Дельвига “Не осенний частый дождик / Брызжет, брызжет сквозь туман”; “Смешались дети, старики” – ср. у Лермонтова “Смешались в кучу кони, люди”), литературные переключки и даже полемику, к примеру, с Б. Пастернаком. Если Пастернаку в зрелости открылась неслыханная простота, то Окуджаву в молодости объявляет своим кредо простоту, достигаемую через высоту (“Человек стремится в простоту”). Пройдут годы, и, подводя жизненные итоги, Окуджаву вспомнит пастернаковского “Гамлета”, переводя размышления предшественника из гипотетического плана в прошедший.

Но когда достигаешь предела,  
И душа отлетает во тьму –  
поле пройдено, сделано дело...  
Вам решать: для чего и кому.

То ли мёд, то ли горькая чаша,  
то ли адский огонь, то ли храм...  
 (“У поэта соперников нету...”)

См. у Пастернака: “Чашу эту мимо пронеси” – из Библии; “Жизнь прожить – не поле перейти” – русская народная пословица. А в одном из последних интервью, данном Д. Быкову (газета “Вечерний клуб”), Окуджаву назовёт в числе главных своих учителей Бориса Пастернака: “Многим обязан фольклору... Как поэт – Пастернаку и Киплингу...”

В 60-е годы я не задавала себе вопроса о составе сборника “Март великодушный”: что отобрал сам автор и что ему “зарубили” редактор и цензор, а теперь задаю. Почему, например, в книгу не вошёл “Союз друзей” (“Поднявший меч на наш союз...”) ? Не потому ли, что создан он был в начале “оттепели”, когда верилось, что “если мы сплотимся, можно будет изменить ход событий”, как вспоминал поэт. Но наступала брежневская эпоха, и упоминания в песне о “ненадёжных истинах” и “чужих пирах”, о “безумном султানে” и остроге таили в себе угрозу.

Сегодня по-новому перечитываешь и стихотворение “Мой карандашный портрет”. Прежде мне бросалось в глаза ироническое сопоста-

вление живого оригинала и его неподвижной копии: “А у меня горит душа” – а карандаш “душу мне потушит”; “мой фас увековечен” – “но бушевать мне нечем”; “премией отмечен... да плакать ему нечем”. Автор перебирает разные варианты названия для портрета: “Учитель”, “Каменщик”, “Поэт”, “Немой свидетель века”, – и сомневается: “Но мне ли верить в это?” А ныне мы видим в Б. Окуджаве и поэта, и учителя, и свидетеля века. И сам он за несколько лет до смерти напишет:

Я не пророк и не провидец,  
и не ропщу, и не борюсь.  
Я просто бедный очевидец  
событий, в коих сам варюсь.

И, не подверженный гордыне  
и обращенный к небесам,  
я ноги в кровь собою в пустыне  
и расскажу, что видел сам.  
(“Что проку быть в мире загробном”, 1992)

Мы простились с живым Булатом Окуджавой, но его душа – в стихах и песнях – осталась с нами.

*Цфат,  
Израиль*





## Пушкинский очерк Георгия Мейера

На кладбище во французском городе Медон, близ Парижа, близ знаменитой обсерватории, похоронен отдалённый потомок ливонского рыцаря. Вот ведь как бывает: был некогда “рыцарь бедный”, приехал он во времена Ивана Грозного в Россию на службу и – остался в этой стране навсегда, пустил корни, обзавёлся детьми и внуками. От детей и внуков потом были новые дети и внуки, уже русские, и так шли века. А потом наступил век двадцатый, произошли известные события – и отдалённый потомок был выброшен обратно в Европу, где и окончил свой земной путь. Так завершились, описав некий круг, фамильные странствия.

Георгий Андреевич Мейер – так звали отдалённого потомка рыцаря: и был он и философом, и публицистом, и литературоведом. Пришла пора вспомнить и о нём, отнюдь не последнем человеке в рядах первой русской эмиграции.

Он родился в 1894 году в Симбирской губернии, детские годы провёл неподалёку от Самары. По-видимому, рано созрел и окреп духом, уже в молодости отличался твёрдыми убеждениями. Так, поступив на историко-филологический факультет Московского университета, Г. Мейер через год покинул его, ибо не мог находиться в “рассаднике революции”. Поступил в военную службу, в пехотный Св. Александра Невского полк, с которым прошёл всю Великую войну. Затем новые, можно сказать – рыцарские – поступки: отказ присягать бесполому Временному правительству, ранний переход в стан Белого Движения, и бои, и победы, и отступления, и вечно памятная эвакуация в Константинополь...

Почти полвека суждено было прожить Георгию Андреевичу на чужбине. Был он и таксистом, и преподавателем, а с 1925 года стал сотрудником влиятельной парижской эмигрантской газеты “Возрождение”. Пожалуй, именно здесь и раскрылись его несомненные дарования. Немного написал Г. Мейер – но написанное им умно, глубоко, сме-

ло – как, например, очерк “Чёрный человек”, с которым предстоит познакомиться читателю. Такие очерки, безусловно, обогатят нашу словесность и науку.

Скончался Георгий Андреевич Мейер 7 февраля 1966 года, на больничной койке. Лишь после кончины самобытного человека близкие люди сумели напечатать некоторые его книги – такие, как “Свет в ночи” (Франкфурт, 1967), которая посвящена “медленному чтению” “Преступления и наказания”, или “У истоков революции” (Франкфурт, 1971). Только после этих публикаций Г. Мейер обрёл запоздалое признание в интеллектуальных кругах эмиграции. Что же касается России, то путь его оригинальных трудов к отечественному любителю умного чтения только начинается; хотелось бы верить, что судьба его сочинений на родине будет всё-таки более счастливой.

Очерк “Чёрный человек” был впервые напечатан в газете “Возрождение” в 1937 году (№ 4064. 6 февраля).

М.Д. Филин ©



## ГЕОРГИЙ МЕЙЕР

### Чёрный человек

#### *Идейно-художественный замысел “Моцарта и Сальери”*

“Моцарт и Сальери”, краткое драматическое произведение в двух сценах, едва ли не самое таинственное, загадочное и сложное из написанного Пушкиным. Таинственнее всего, конечно, человек в чёрном, заказавший Requiem Моцарту. Вернее, в нём средоточие всей таинственности, которая, на первый взгляд, кажется нам какою-то нарочитой, подчёркнутой. О чёрном человеке, за исключением его гробной окраски, мы ничего не знаем. Мы не можем даже вообразить себе черты и выражение его лица. Не видел их и Моцарт. В противном случае,

встревоженный странным посещением, он поведал бы о них Сальери. Однако рассказ Моцарта о чёрном человеке с внешней, описательной, стороны звучал бы невыразительно и бледно, не будь он изложен короткими прерывистыми фразами, в ритме которых дышит предчувствие надвигающейся беды.

Недели три тому, пришёл я поздно  
Домой. Сказали мне, что заходил  
За мною кто-то. Отчего – не знаю,  
Всю ночь я думал: кто бы это был?  
И что ему во мне? Назавтра тот же  
Зашёл и не застал опять меня.  
На третий день играл я на полу  
С моим мальчишкой. Кликнули меня;  
Я вышел. Человек, одетый в чёрном,  
Учтиво поклонившись, заказал  
Мне Requiem и скрылся.

Итак, по наружности странный заказчик для Моцарта лишь “кто-то” и “тот же”, “одетый в чёрном”, нечто почти астральное, бесплотное.

Любитель похоронной музыки учтиво вторгается в простую человеческую жизнь беспечного Моцарта. “Играл я на полу с моим мальчишкой”. Чего же проще! И нет, по-видимости, ничего мудрёного и страшного в приходе к известному композитору человека с музыкальным заказом. Но вот с тех пор, – говорит Моцарт, обращаясь к Сальери, –

Мне день и ночь покоя не даёт  
Мой чёрный человек. За мною всюду  
Как тень он гонится. Вот и теперь  
Мне кажется, он с нами сам-третей  
Сидит.

Чего же так испугался Моцарт, да ещё исподволь, не сразу? Ведь принял же он роковой заказ и, по собственным словам, сел тотчас же и стал писать, а по окончании работы оказался радостно зачарованным ею и не хотел расстаться со своим творением, как с чем-то волшебным, живительным. Очевидно одно: страх проникал в Моцарта постепенно, под впечатлением воспринятых бессознательно в первое же мгновение близости и безымянности чёрного существа.

В безличии “одетого в чёрном” душа Моцарта учуяла вестника смерти. Это очень понятно и просто. Так просто, что стоило Пушкину задержаться на этом лишнюю минуту, как охотникам до позитивных умозаключений открылось бы раздолье: “Пушкин в лице Моцарта вывел психологию заболевшего гения, подверженного галлюцинациям, который под давлением самовнушения”... и т.д. и т.д.

Прежде всего в таком толковании несостоятельна ссылка на галлю-

цинации: о посещениях чёрного человека Моцарту трижды докладывали другие. И если страх Моцарта перед безликим посетителем сравнительно легко объяснить болезненной впечатлительностью, то невозможно заподозрить в ней уравновешенного, весьма позитивно настроенного Сальери – чистейшего законника, отчасти представителя и невольного защитника “реальных ценностей”.

Правда, Сальери не боится чёрного человека, но о его существовании, о его исчерпывающем значении в судьбе Моцарта, наконец, о его *потусторонности* он знает подлинно и притом раньше и больше самого Моцарта. Иначе Сальери, уже заготовивший яд, чтобы отравить Моцарта, не мог бы скрыть смущения, слушая рассказ о чёрном человеке, заказавшем Requiem обречённому им же, Сальери, на смерть.

Сальери не тупой, бесчувственный злодей, а утончённый вершитель человеческой справедливости, законник, ещё живущий остатками совести. Между тем, на замечание Моцарта о чёрном человеке, который сейчас, здесь, “с нами сам-третьей сидит”, он тотчас, не задерживаясь, отвечает шуткой, ссылаясь на шампанского бутылку и на весёлую “Женитьбу Фигаро”<sup>1</sup>. Сальери – сознательный союзник безликого посетителя – отвлекает Моцарта шуткой и усыпляет его внимание.

Всё же и при таком толковании неисправимому эмпирику предоставляется подобие лазейки. “А что если сам Сальери, замысливший убийство, предварительно подослал кого-то к Моцарту с заказом похоронной музыки? Остаётся ли при такой упрощённой комбинации место для выхода с того света?”.

Приняв такого рода положение, мы обречены утверждать, что сама жизнь, само бытие идёт на помощь дьявольскому замыслу Сальери. достойно или не достойно дополняя его и доводя до полной меры. “Человек, одетый в чёрном” заходит к Моцарту трижды, дважды не застаёт его и, наконец, на третий раз вручает ему роковой заказ. Случайность? Но случайность не что иное, как свободная игра, происходящая в недрах своейвольной жизни. Что же касается великого художества, то в нём, как известно, случайностей не бывает. И вот, выходит, что жизнь *троекратно* или, вернее, самим явлением *троекратности*, творит совместно с Сальери и чёрным человеком кощунственную пародию на что-то и на кого-то. Ведь всё же Моцарту заказана заупокойная обедня – по себе самом (что уже в достаточной степени кощунственно), а сама христианская обедня обращена к Божественной Троице. Таким образом, троекратная настойчивость чёрного человека с помощью жизни приобретает особый, если угодно, вполне позитивный смысл – служения чёрной мессы, исполняемой параллельно заупокойной обедне, заказанной Моцарту. И вот Сальери, чёрный человек, а вместе с ними – позитивно понимаемая жизнь, безвозвратно погружаются в чёрную мистику, в злую потусторонность, а

Моцарт и его Requiem возникают как единственная и доподлинная реальность, как истинное бытие.

Конечно, вполне возможно, и даже должно, приняв построения Сальери, признать явлением нездешним именно Моцарта:

Что пользы в нём? Как некий херувим,  
Он несколько занёс нам песен райских,  
Чтоб, возмутив бескрылое желанье  
В нас, чадах праха, после улететь!

Но пусть гениальность Моцарта – нездешняя, сам-то он, без сомнения, не потусторонен, а живёт среди нас, ест, пьёт и спит, играет на полу с своим мальчишкой.

Иное дело потусторонний всему в мире чёрный человек.

Сальери отлично знает чёрного человека, хотя бы сердцем, хотя бы своей искажённой совестью – но знает, и сознательно причастен его деяниям. Эта сознательная причастность потустороннему безмерно осуждает сущность позитивиста Сальери, поклонника земной пользы.

Сам по себе чёрный человек имеет в творчестве Пушкина свою многоликую генеалогию. Все без исключения поэмы, драматические сцены, сказки и повести великого поэта в замысле связаны между собою единым важнейшим признаком: вторжением сверхъестественной, потусторонней силы в человеческую жизнь. Часто у Пушкина эта сверхъестественная сила, в которой, кстати сказать, древний человек распознал бы древнюю идею рока, выбирает между людьми, своих *бессознательных* посредников, проводников потусторонней воли. Так, *роковой* сон Татьяны невидимо обволакивает Онегина, роком вторгающегося в бедную жизнь семейства Лариных и убивающего на дуэли “доброе малого” – Ленского. “Глас народа – глас Божий”; недаром степные помещики, соседи Онегина, отмечают в нём чужеродное начало, нечто заморское, “нездешнее”:

Он фармазон; он пьёт одно  
С стаканом красное вино<sup>2</sup>.

В “Полтаве” иное соотношение. Там сверхъестественная сила – рок – с помощью Божьего попустительства сливается неведомыми путями со своим посредником и проводником:

Выходит Пётр. Его глаза  
Сияют. Лик его ужасен.  
Движенья быстры. Он прекрасен.  
Он весь, как Божия гроза.

Идея древнего рока – неумолимого закона, тяготевшего над падшим человечеством, зародилась в бездумном творчестве молодого Пушкина и на первых порах приняла облик сказочного и одновременно кар-

катурного Черномора. Тут – любопытнейшая черта! Древний человек не улыбался при мысли о роке, и, доведись ему прочесть “Руслана и Людмилу”, он ужаснулся бы такому фамильярному обращению с немолимым божеством. Нужны были долгие века христианства, чтобы в кровь, плоть и душу человека проникло чувство благодати, *освобождающей* Голгофы. Объяснить вольнодумством и вольтерьянством лёгкое на первом шаге обращение Пушкина с роком значило бы ровно ничего не объяснить: само вольнодумство (дурно понятая свобода) есть следствие светски, если угодно, еретически воспринятого христианства. Пушкин был вполне новозаветным человеком и вряд ли не всё его гворчество устремлено на борьбу с древним ужасом рока, с ветхозаветной идеей закона и человеческой справедливости. Неопровержимо и ясно: Моцарт был для Пушкина символом новозаветного человека, светским символом восстановленного Адама.

Однажды зародившись в творчестве Пушкина, идея древнего рока росла и развивалась, грозила каменной десницей командора, скакала медным всадником за жалким неудачником Евгением и, наконец, опустилась на дно родной реки и стала мстительной русалкой. Но никогда и нигде она так страшно не выцветала, не делалась таким расплывчатым и вместе грозным пятном, как в тихой поступи, в неукоснительных движениях безликого чёрного человека. Ещё один шаг, одно движение – и расплывчатос пятно превратится в воронку, в чёрную дыру, и толстовский Иван Ильич<sup>3</sup> беспомощно забарахтается в ней. Что же касается обещанного нам сомнительного света в конце дыры, то едва ли сам Лев Толстой станет серьёзно настаивать на его действительном существовании.

Сальери вступил в союз с чёрным человеком и во имя справедливости, во имя земного равновесия устранил из жизни чудо в лице Моцарга. Будучи человеком восемнадцатого века, он не позабыл при этом о свершении пародии на погребальный ритуал. Толстой – существо новейшего образца – в обрядах не нуждался. Лично устрашённый чёрной дырой, он подружился с нею во имя других, навеки зацемил в ней несчастного Ивана Ильича и коротким замыканием поспешил разделаться с евангельским чудом.

Однако сущность пушкинского Сальери неизмеримо сложнее и глубже толстовской. Вообще переброс от Сальери к Толстому – всего лишь частный эпизод, молниеносное пророчество Пушкина о поджидавшем нас яснополянском капкане, тёмном тупике девятнадцатого века.

Между Сальери и Толстым есть недоступная черта. Толстой ничего не знает о чуде и не верит в него. Знаменитая дыра Ивана Ильича для Толстого – простая мегафора физической смерти, с наивным привеском на конце, на всякий случай, чего-то вроде тусклой керосиновой лампочки. Чудо, по Толстому, необходимо устранить, как вредную для

человечества пустую бредню. Трудно назвать мистерией или хотя бы терпимой религиозной потугой затеянную Толстым грандиозную морализацию вселенной!

Для Сальери открыто всё мистическое. Ему не нужно верить, – он ведает и Бога и дьявола. Он не пугается чёрного человека, сознательно вступает с ним в союз и о херувимском чуде Моцарта отчётливо и просто свидетельствует сам. Сальери, в противовес Толстому, чрезвычайно и сложно *духовен*. Поэтому он никогда не опустится до родной Толстому области, иными словами – никогда не попадётся в ловушку как называемой “социальной проблемы”.

Где начинается социальное, там кончается духовное переживание добра и зла, там невозможны трагедия и мистерия, божественный розыгрыш в человеке и самим человеком внедрённых в него свыше истин – “их же не преидеши”. Социальное начало отменяет соборное и водворяется в жизни ровно в той мере, в какой самоутверждаются люди, отказываясь от Бога. Социальное существует, поскольку человек атеистичен.

Сальери не только не социалист (его стремление к самоутверждению порядка не атеистического, а непосредственно богоборческого), но и совершенно чужд всему социальному, государственному. При первом легковесном обозрении он скорее может сойти за морализирующего эстета – есть и такие. Но моралью он только прикрывается, как маской, нужной ему для усыпления остатков собственной совести, для попытки оправдать зависть, которую он испытывает. К чему же и к кому питает он зависть?

Нет! Никогда я зависти не знал,  
 О, никогда! Нижё, когда Пиччини  
 Пленить умел слух диких парижан,  
 Нижё, когда услышал в первый раз  
 Я Ифигении начальны звуки.  
 Кто скажет, чтоб Сальери гордый был  
 Когда-нибудь завистником презренным,  
 Змеей, людьми растоптанною, вживе  
 Песок и пыль грызущего бессильно?  
 Никто!.. А ныне – сам скажу – я ныне  
 Завистник. Я завидую; глубоко,  
 Мучительно завидую. – О небо!

Бесспорно одно: Сальери завидует не гению Моцарта. Ведь принял же он “великого Глюка”, открывшего “глубокие, пленительные тайны”, и, по собственному признанию, пошёл за ним безропотно и бодро. Это признание наотрез уничтожает ходкое мнение о пушкинском Сальери как о завидующей бездарности. И всё же об этом многие “писали – не гуляли”, к тому же упоминая всуе имя гениального Баратынского<sup>4</sup>.

Следуя точно за умозаключениями Сальери, мы видим, что он несколько не отвергает и не попирает ни чужой гениальности, ни чуда

как таковых. Глубокие, пленительные тайны, добытые Глюком упорным трудом, Сальери принимает благоговейно и сами по себе почитает их чудом. Потрудившийся гений Глюка он также принимает и перед ним преклоняется. Но дело в том, что сам Глюк, *как личность*, для Сальери совсем не чудо, а всего только потрудившийся человек.

В целом явление Моцарта неприемлемо потому, что он – “гуляка праздный”, он не заработал своих райских песен, они достались ему даром. При таком положении сам Моцарт, *как человек*, являет собою *воплощённое чудо*. Слово сказано! Именно чуда, воплотившегося в образе человеческого, не принимает Сальери. В области творчества – единственно сущной для человека, – Сальери утверждает магию и отрицает благодать. Сальери очень точно называет себя гордым (самоутверждающимся). Он ждёт свыше немедленных наград за труды и моления и, как будто сам того не замечая, в действительности же, лицедействуя и лицемеря, подменяет совершённое художником усилие труда – насильем над сферами иными, а моление – закланием. Это очень нетрудно доказать, ибо ждущий немедленной награды за труды и моления прежде Бога успел оценить себя сам и навязывает божественной правде собственное мнение о справедливости.

Признавая великим потрудившегося Глюка, Сальери совершает греховную подмену в свою пользу, он не видит благодатности сделанного Глюком усилия. Труд Глюка смиренен и бескорыстен, а потому благодатен. Работа Глюка равняется молитве, работа Сальери – закланию. В своей самоутверждённости Сальери пронизан магией, он насквозь магичен. О да, “это сказка тупой, бессмысленной толпы – и не был убийцею создатель Ватикана”, не мог никого убить и Глюк. Этого как будто не понимает отравитель Моцарта.

Магическая, колдовская сосредоточенность на себе доводит Сальери до самообожествления. “Нет правды на земле, но правды нет и выше!” – восклицает он. Но кто берёт на себя судить и небо и землю и не видит правды ни тут, ни там, кто утверждает собственную правду как единственную и, выбирая в жизни подсудимых – казнит их, тот – бог. Вот что освещает Сальери серным люциферическим пламенем и не только делает умопостижимой его связь с чёрным человеком, но и восстанавливает их злое тождество.

Пушкин – великий и мудрый поэт, всю жизнь трудившийся в поте лица, лучше кого бы то ни было знал, что такого художника-человека, как его Моцарт, действительность никогда не создавала и не создаст. Творя такого рода *символ*, Пушкин исходил из невозможного. Но для того чтобы символизировать нечто, необходимо его наличие. И все мы знаем, что это “нечто”, это чудо доподлинно было нам явлено во образе Богочеловека. Он же не сеял, не жал, жил, как птица небесная, а из рук Его сыпался нездешний жемчуг. И вот теперь неминуемо облик

пушкинского Сальери оборачивается для нас Иудой. Столь потрясающего раскрытия тёмной сущности предателя, такого толкования и развития простых евангельских слов о человеке, предавшем своего Бога, мировая поэзия не ведаёт!

Пушкинский Моцарт, подобно Богочеловеку, своим появлением на земле отменяет рок и законничество. Сальери, подобно Иуде, встаёт на защиту рока, присваивает себе его миссию и вытесняет из жизни воплощённое чудо.

В начале этого очерка Сальери назван позитивистом и *невольным* защитником “реальных ценностей”. Ныне, когда символы Пушкина расшифрованы и раскрыты, необходимо сказать иначе: Сальери не позитивист, а существо, прикрывающееся позитивизмом для достижения своей метафизической цели. Сальери прежде и после всего – лицедей. Совершая свой злой пробег по чисто духовной орбите, он в поисках самооправдания – всегда необходимого злу – вынужден носить личину защитника всего земного, вещного, и помимо воли обнаруживать дьявольскую сущность всякого позитивизма вообще.

Любой актёр не удовлетворяется одной ролью, одной маской, а хочет играть и носить их множество, бесконечно и призрачно перевоплощаясь. Сальери добровольно присваивает себе одну лишь роль чёрного человека, с помощью которого и при содействии жизни творит страшную пародию на Requiem Моцарта. Но, понуждая его к дальнейшему дроблению, изменчивая жизнь “с улыбкой двусмысленной и тайной” возвращает ему пародию старицей, по пути выясняя, что Сальери совсем не моралист, а лишь прикрывающийся моралью лицемер. Когда, весело смеясь, Моцарт приводит к своему убийце старого уличного скрипача, искажённо играющего моцартовскую мелодию, Сальери слышит голос жизни, насмешливо говорящей ему: “Ты сотворил кощунственную пародию на Моцарта, ты хочешь убить его и встать на его место. Знай, самозванец, что этот жалкий старик-скрипач, это подобие ветхого Адама не кто иной как ты сам”. В ответ Сальери прикрывается моральным обоснованием и гонит старика прочь:

Мне не смешно, когда маляр негодный  
Мне пачкает Мадонну Рафаэля.  
Мне не смешно, когда фигляр презренный  
Пародией бесчестит Алигьери.  
Пошел, старик.

Эти слова внутренним подспудным течением соединяются с конечным восклицанием Сальери –

Но ужель он прав,  
И я не гений? Гений и злодейство  
Две вещи несовместные.

Тут скрытый момент очищения, нужный не Сальери, а нам, зрителям. Лицедей и самозванец изблещён и падает сражённм.

В “Моцарте и Сальери” необычное у Пушкина двустороннее вторжение сверхъестественных сил в человеческую жизнь ставит это произведение на совершенно особое место. Это можно выразить так: чудо Моцарта врывается в земные расчёты Сальери; в ответ отравитель с помощью потустороннего чёрного существа рассекает человеческое естество Моцарта.

Двустороннее вторжение мистического “в человеческое, слишком человеческое” выводит эмпирику за пределы развивающегося действия. Поэтому “Моцарт и Сальери” Пушкина встаёт перед нами как чистейший мистериальный опыт. Новозаветная мистерия не может избежать символизации Тайной Вечери. Тем самым предрешена трактирная трапеза (художественный приём снижения), за которой Сальери предаёт и отравляет Моцарта.

Воплощённое чудо – Моцарт оказывается замкнутым в магическом круге тёмных масок Сальери. Чудо должно быть вытеснено из жизни!

Сократ – отравлен, Христос – распят. Да сбудется положенное!

### Комментарии

Публикуется по изд.: Мейер Г. Собрание литературных статей. Франкфурт-на-Майне, 1968. С. 29–39.

<sup>1</sup> “Женитьба Фигаро” – комедия французского драматурга Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799), написанная в 1784 году.

<sup>2</sup> “Евгений Онегин”, глава вторая, V.

<sup>3</sup> Иван Ильич – заглавный герой повести Л.Н. Толстого “Смерть Ивана Ильича” (1881–1886).

<sup>4</sup> Имеется в виду распространённое мнение, будто Е.А. Баратынский испытывал чувство жгучей зависти к гению Пушкина. Своё, негативное, отношение к этой весьма непростой и деликатной проблеме Г.А. Мейер изложил в статье “Баратынский и Пушкин (Вокруг старого спора)” // Родная Земля. Париж, 1926. № 1–4; см. также в кн.: Мейер Г. Собрание литературных статей. Франкфурт-на-Майне, 1968. С. 41–55.



*К 150-летию со дня рождения*

### **Всеволод Федорович Миллер**

Круг исследовательских интересов Всеволода Федоровича Миллера был весьма широк. Но непреходящее значение труды его имеют прежде всего в двух областях – языкознании и изучении народного эпоса.

В.Ф. Миллер родился в семье поэта-переводчика в Москве 7/19 апреля 1848 г., скончался в Петербурге 5/18 ноября 1913 г.

По окончании историко-филологического факультета В.Ф. Миллер был оставлен при Московском университете для подготовки к профессорскому званию на кафедре сравнительного языкознания. Углубленные занятия санскритом, начатые еще до поступления в университет, В.Ф. Миллер продолжил во время заграничной командировки 1874–1875 гг., работая в Берлине, Праге и Тюбингене под руководством крупных лингвистов. В непосредственной связи с санскритом он изучает древнеиранский и литовский языки (еще в 1871 г. вместе с Ф.Ф. Фортунатовым он занимался литовским языком, записывая в Сувалкской губернии литовские песни). Широко охватывая интересовавшие его области, В.Ф. Миллер совмещает с лингвистикой изучение литературы и мифологии, постоянно привлекает славянские материалы.

С 1884 г. В.Ф. Миллер – профессор кафедры сравнительного языкознания, с 1892 г. – профессор кафедры истории русского языка и словесности, а с 1903 г. – заслуженный профессор Московского университета. С 1897 по 1911 г. он является директором Лазаревского института восточных языков. В 1911 г. Всеволод Федорович был избран академиком.

Как лингвист В.Ф. Миллер – прежде всего кавказовед. Летом 1879 г. он совершил свою первую поездку на Северный Кавказ, за нею последовали другие. В горах Осетии В.Ф. Миллер непосредственно познакомился с “народом, значение которого для русской народности было, конечно, тогда же оценено нашим ученым, положившим основания научной разработки языка, быта и истории осетин”, – писал академик А.А. Шахматов в своей обстоятельной характеристике трудов В.Ф. Миллера, напечатанной в “Известиях Императорской Академии наук” (СПб., 1914. VI серия. № 2. С. 77). “Напряженные труды В.Ф. Миллера в области изучения этого народа, – продолжал А.А. Шахматов, – были вызваны уверенностью, что осетины, ясы наших древних летописей, были посредниками или одними из посредников между культурой Востока и южнорусской народностью” (там же).

Результатом стали изданные в трех частях “Осетинские этюды” (1881–1887 гг.). Вторая их часть, содержащая грамматическое исследование осетинского языка и описание верований осетин, стала докторской диссертацией В.Ф. Миллера. Первая часть была посвящена фольклору, третья – истории осетинского народа. После выхода этого фундаментального труда В.Ф. Миллер продолжал свои занятия языком и фольклором осетин. В 1903 г. его работа, продолжившая это изучение, выходит на немецком языке. Им был подготовлен и фундаментальный словарь осетинского языка. В 1890-х–1900-х годах ученый посвятил ряд работ языку горских евреев, говору азербайджанцев иранского происхождения, исследовал иранские имена в греческих надписях Причерноморья.

В 1877 г. он читал в Московском университете курсы санскрита и древней истории Востока, а в 1891 г. издал (совместно с Ф.И. Кнауэром) “Руководство к изучению санскрита”.

Академик Е.Ф. Карский подчеркивал, что “свои лингвистические изыскания” В.Ф. Миллер “подкрепляет археологическими изучениями, к которым обращается в то же время. Языкознание и археология дают твердую почву для этнографических изучений, которые особенно начинают привлекать его...” При этом “исследование кавказских иранцев направило В.Ф. Миллера на изучение иранского влияния на древних обитателей юга России и вообще к рассмотрению влияния Востока на Россию и Европу” (Русский филологический вестник. Варшава, 1914. № 2. С. 236). А “изучение языка и этнографии рано привлекло внима-

ние В.Ф. Миллера к изучению народной словесности вообще и особенно русской” (там же, с. 237).

В 1891 г. появляется его статья “Кавказско-русские параллели”, ставшая, по заключению А.А. Шахматова, “тем переходным звеном, которым связывается с эпохой увлечения В.Ф. Миллера изучением иранских языков, этнографии и истории Кавказа последующая его деятельность, специализировавшая его на исследовании русской народной словесности” (Известия Императорской Академии наук... С. 80).

Вышедшая в 1892 г. книга “Экскурсы в область русского народного эпоса” посвящена, в основном, выявлению следов воздействия на него эпоса иранских, степных народов. При этом В.Ф. Миллер, однако, не разделил увлечений В.В. Стасова, известная работа которого “Происхождение русских былин” (М., 1871) вообще выводила русский эпос с Востока. В.Ф. Миллер критиковал Стасова, требовал не отрывать наш эпос от русской истории и высказал принципиально важную для последующих его трудов мысль, что многие былины являются результатом эволюции исторических песен.

Соотнесениям русского эпоса с русской историей и были посвящены, в основном, все дальнейшие исследования В.Ф. Миллером былин и исторических песен. Это большой цикл статей, объединенных затем автором в два тома “Очерков русской народной словесности” (1897 и 1910 гг.). Последующие работы составили третий том “Очерков”, вышедший уже посмертно в 1924 г. заботами учеников В.Ф. Миллера.

Отметив принципиальную важность верного понимания В.Ф. Миллером “вопроса о взаимном отношении былин и исторических песен”, А.А. Шахматов подчеркивал, что “это положение сразу перенесло все изыскания В.Ф. Миллера на почву русской истории”, причем “на первый план выдвигались вопросы о той реальной обстановке, в которой сложилась та или иная историческая песня, впоследствии перешедшая в былинку” (Известия... С. 82).

Всеволод Федорович не первым стал соотносить русский эпос с событиями и деятелями русской истории. Начало этому положено было еще в некоторых работах Ф.И. Бусласева и в небольшой книге Л.Н. Майкова “О былинах Владимирова цикла” (СПб., 1863). Но именно в трудах В.Ф. Миллера такие соотнесения обрели прочную методологическую основу и дали обильные результаты в виде доказуемых исторических приурочений многих былинных имен, мотивов и сюжетов. Как справедливо заключал А.А. Шахматов, “последовательно и цельно проведен исторический метод только в исследованиях В.Ф. Миллера” (Известия... С. 84). Он приобрел в этой работе немало талантливых учеников и последователей. Наша наука признала его бесспорным главой исторической школы русских эпосоведов, основавших свои труды на теоретических положениях и методологических принципах В.Ф. Миллера.

А.А. Шахматов не случайно счел “особенно ценными” те главы “Очерков”, которые “посвящены общим вопросам, выдвигаемым изучением былевого эпоса”: основанные на твердо установленных научных фактах здравые суждения В.Ф. Миллера “рассеяли тот туман, который окружал представления о народной поэзии, о народном творчестве со времен появления в Германии теории народного эпоса, созданной Яковом Гриммом и его последователями”: В.Ф. Миллером впервые “поставлен был вопрос, как могло дойти до нас столько отдаленной старины в былинах; разработка вопроса привела его к мысли, что у нас на Руси, как и у большинства народов, имеющих эпические сказания, были профессиональные их хранители, обрабатывавшие их, исполнявшие их в народе и передававшие их в своей среде новым поколениям профессиональных певцов” (Известия... С. 82–83).

Не все конкретные сближения содержания отдельных былин с историческими фактами и историческими лицами, сделанные В.Ф. Миллером, закрепились в науке, но его метод остался непоколебленным. Сделанное Всеволодом Федоровичем в двух главных областях его научных трудов имеет непреходящее значение и принадлежит к классике филологической науки. Второй период его научной деятельности, хотя и относится к сфере исследований, отличной от первого, связан с ним неразрывно в методологических основах. Самый любимый из учеников В.Ф. Миллера – выдающийся фольклорист А.В. Марков – в своей книге, посвященной анализу трудов учителя, привел высказывание его о важности сравнительно-исторического метода и заключал: “сравнительное языкознание давало исследователю определенное, испытанное орудие, в руках с которым он приступил к изучению произведений народной поэзии” (Марков А.В. Обзор трудов В.Ф. Миллера по народной словесности. Памяти дорогого учителя. Пг., 1916. С. 3).

С.Н. Азбелев,  
*доктор филологических наук*  
Санкт-Петербург

## “С МОСКВА-ТУР НА КРАСНОЕ МОРЕ!”

### *Что-то новенькое в грамматике?*

Л.К. ГРАУДИНА,  
доктор филологических наук

По радио можно услышать рекламные описания различных зарубежных курортов, которые заканчиваются, в частности, таким призывом: “С Москва-тур на Красное море!”. Звучит не по-русски: нарушена привычная грамматическая норма. Если бы авторы рекламы употребили собственное наименование в качестве приложения к видовому названию типа *компания*, *фирма* – правило было бы соблюдено. Грамматической норме литературного языка соответствовала бы другая фраза: “С компанией «Москва-тур» на Красное море!”. Уместно вспомнить существующее и никем не отмененное правило: сокращения слогового типа, образованные путем сложения слов или начальных частей слова со слогом, такие, как *связьинвест*, *минтоп*, *продмаш*, *газпром*, *самиздат*, *вторцветмет* и под., в косвенных падежах должны склоняться: приватизация *связьинвеста*, коллегия *минтопа*, отпечатано в *самиздате*, из *вторцветмета* и т.д.

Самое удивительное, однако, заключается в том, что правило склоняемости постоянно нарушается во многих теле- и радиорекламах. Приведу лишь немногие примеры: “Наша ассоциация совместно с *бленд-а-мед* проводит просветительскую работу” (НТВ, октябрь 1997 г.); «Гладить благодаря “*Ленор*” гораздо легче» (речь идет о новом кондиционере “*Ленор*”; НТВ, сентябрь 1997 г.); на титрах телепередач читаем – “По заказу *ТВ-центр*” (сентябрь 1997 г.); “Шоколад ... *от Штольберг* – настоящее золотого Алыи” (РР, октябрь 1997 г.) и т.д. В последнем примере загадочно имя собственное *Штольберг*: кого или что оно обозначает в рекламе шоколада – фирму, владельца фирмы или, скорее, ее владелицу, поскольку иноязычные фамилии на твердый согласный не склоняются только в применении к женщинам.

Широкий пласт заимствований разного рода, появившихся в нашей обиходной речи, не может не воздействовать и на грамматические нормы языка. Нскогда акад. Е.Ф. Карский использовал удачное сравнение по отношению к иностранным словам, их месту в русской грамматике: эти слова, как иностранные подданные, поселившиеся в чужой земле, должны подчиняться законам той страны, в которой поселились (Карский Е.Ф. К вопросу об употреблении иностранных слов в русском языке

ке. Речь при открытии в Варшаве Летних курсов для учителей и учительниц начальных и городских училищ. Варшава, отд. отт., 1910. С. 7).

Против механической пересадки грамматических особенностей заимствованных слов (в частности, и несклоняемости иностранных названий) возражали и многие другие стилисты. Поборник чистоты и правильности русской речи В.И. Чернышев отмечал, что мы не должны "руководствоваться в употреблении данных этого языка, из которого заимствовано то или другое слово. Единственным основанием для нас может быть только сложившееся русское употребление".

Число слов – "иностранных подданных", поселившихся в нашем языке в 90-е годы, – заметно выросло: заимствования широко используются и в сфере экономики, бизнесе, информатики, и в сфере массовой культуры. Глубокий анализ современной речевой практики в средствах массовой коммуникации дан в книге акад. В.Г. Костомарова "Языковой вкус эпохи" (М., 1994 г.; 2-е изд. 1997 г.). Автор называет жизненно оправданными многие иноязычные обозначения новых явлений техники и технологии, рыночной экономики, компьютерных и информационных устройств – имеются в виду все появившиеся новые для нас реалии и новые их номинации типа *спонсор, лизинг, мониторинг, интернет, факс, пейджер, видео, плейер, эквалайзер* и др. Справедлива мысль о новом балансе речевых слоев в литературном каноне и происходящих существенных сдвигах в стилистической норме. Усилилась вариативность языковых единиц на всех уровнях языка, и научный подход к нормативной оценке новых явлений также требует обновления. Следует заметить, что в необходимом процессе нормализации языка особую роль играют нормативные словари. В этом отношении нельзя не вспомнить ценных суждений Л.В. Щербы: "В чем же должна состоять нормализаторская роль нормативного словаря? В поддержании всех живых норм языка, особенно стилистических (без этих последних литературный язык становится шарманкой, неспособной выражать какие-либо оттенки мысли); далее, в ниспровержении традиции там, где она мешает...; далее, в поддержании новых созревших норм там, где проявлению их мешает бессмысленная косность. Все это происходит помимо всяких нормативных словарей; однако эти последние могут помогать естественному ходу вещей, а могут и мешать ему, направляя развитие языка по ложным путям" (Л.В. Щерба. Опыт общей теории лексикографии // Известия АН СССР. ОЛЯ. 1940. № 3).

Одно из важных направлений деятельности сектора культуры русской речи Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН связано как раз с созданием и совершенствованием основных и наиболее актуальных словарей-справочников ортологического типа. Ортологические словари (или словари правильностей) служат непосредственным задачам культивирования языка и нашей повседневной речи. Харак-

терна их ориентация: 1) на коллекционирование трудных и новых случаев письменного и устного употребления; 2) ориентация на исправление ошибок, относящихся ко всем уровням языка – грамматике, словопотреблению, орфоэпии, орфографии.

На грамматические процессы, происходящие в языке, в секторе обращается особое внимание. В настоящее время ведется работа, связанная с переизданием стилистического словаря грамматических вариантов. Первое издание этого словаря вышло более двадцати лет назад. Его точное название: Л.К. Граудина, В.А. Ицкович, Л.П. Катлинская. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов (М., “Наука”, 1976). На этот словарь в 70-е годы было опубликовано четырнадцать положительных рецензий в отечественных и зарубежных изданиях разного рода (периодических и непериодических). Однако жизнь идет вперед, и за прошедшие годы, в особенности за последнее десятилетие, произошли существенные сдвиги, которые должны быть отражены, оценены и кодифицированы.

У репортеров есть выражение – “писать с конца горящей балки”; оно употребляется, когда речь идет об оперативности журналиста, его способности в любых условиях откликнуться на происходящие события. Нормативно-стилистический словарь – пусть это не покажется странным – должен точно так же оперативно и по существу откликаться на потребности языка. Как мы с позиций культуры речи должны относиться ко всем тем новшествам, которые вторгаются в нашу речь?

Вот некоторые из тех вопросов, которые задавались сотрудникам сектора культуры русской речи в последние годы. В Государственной Думе обсуждалась проблема сокращения бюджета. Актуализировалось в употреблении характерное словечко *секвестр*. Каким должен быть глагол, образованный от этого существительного: *секвестровать*, *секвестрировать* или *секвестировать*?

После распада Советского Союза установлены многочисленные таможни на границах со странами СНГ. Затем были созданы документы о более тесном содружестве некоторых государств, и в результате было принято решение их границы *растаможивать* или *растамаживать*?

Объединилась разделенная после Великой Отечественной войны Германия. Создана Федеративная Республика Германия. Склонять ли в наши дни название *Германия*, во-первых, в косвенных падежах, во-вторых, в исходной форме? Вопрос не праздный, потому что в шестидесятых–семидесятых годах имя собственное в этом словосочетании в исходной форме ставилось только в родительном падеже – Федеративная Республика Германии.

Таких примеров можно было бы привести множество, и, конечно, во втором издании словаря новый материал должен быть отражен. Что же до ответов на три поставленных вопроса, они таковы:

1. О глаголах, образованных от существительного *секвестр*. Само это слово, латинское по происхождению (*sequestrum*) обозначает “запрещение или ограничение, налагаемое государственной властью на пользование или распоряжение каким-либо имуществом, капиталом”. В семнадцатитомном словаре современного русского литературного языка помещен глагол *секвестровать* и отмечено значение – “Накладывать на что-либо секвестр, подвергать секвестру”. Иллюстрация приводится из произведения В.Г. Короленко “В голодный год”: “Попечительство, вместо того, чтобы передать деньги по назначению, секвестровало их и разделило по земским участкам”. В этой же форме – *секвестровать* – глагол зафиксирован и в современном орфографическом словаре. Однако по аналогии с продуктивными формами глаголов на *-ировать*, *-изировать* (ср. глаголы *парафировать*, *варьировать*, *активизировать*, *стабилизировать* и мн. др.) в речи последних лет стала употребляться глагольная форма *секвестрировать* (с усеченным последним согласным основы). Примеры: «Шестой части материка была уготована участь кладовых полезных ископаемых. А вот население этой части земного света представлялось ЦРУ великоватым, его следовало слегка укоротить (по терминологии Чубайса “секвестрировать»)» (Столичный криминал. 1997. Вып. № 6 (48)); “Секвестрировать больше нечего” (ОРГ, “Время”. 15 нояб. 1997). Именно от этого глагола образуются и производные формы: *секвестрируется*, *секвестрирован*, *секвестрированный*: “Обсуждался секвестрированный вариант 1997 года” (НТВ. 1 октября 1997 г.); “Должны быть возвращены все секвестрированные фонды трансфертов” (ОРГ. Новости. 3 ноября 1997 г.). Однако в этот же день по радио из уст экономиста Лившица прозвучали варианты *секвестрировать* и *секвестрированный*.

Общеупотребительное (непрофессиональное) употребление складывается в пользу более благозвучного варианта с усеченной основой. Тем более, что прозрачные ассоциации с глаголом *кастрировать* стали основой многих языковых шуток на тему непопулярного в народе секвестра (и глагола *секвестрировать*).

2. О кратной форме глагола *растаможить*. Можно напомнить правило: если в кратном глаголе совершенного вида ударение падает на корневой гласный, то в парном глаголе несовершенного вида в соответствии с традиционной литературной нормой чередования не происходит, т.е. нормативной считается форма с *-о-* – *растаможивать* (ср. *озабочивать*, *пришпоривать* и под.). Именно эта форма и может быть рекомендована в качестве основной, тем более что она поддерживается однокоренными образованиями типа *тамóжка* (ср. в разгов. речи – праздновать День работников таможки); *растаможена*, *растаможенный*: “Даже растаможенные, они (узбекские автомобили) выглядят иначе” (Радио России. 27 октября 1996 г.). Однако в устной речи отме-

чены и разговорные варианты с *-а-*: “Растамаживали груз не слишком долго...”; “Груз будет растамаживаться в России” (РТР. 11 ноября 1997 г.) и под. Следовательно, в словаре должны быть отмечены оба варианта: на первом месте следует поместить нормативный, на втором – разговорный с соответствующей пометой.

3. По поводу наименования государства *Федеративная Республика Германия* необходимо отметить следующее.

В области иноязычных географических названий, употребляемых в функции приложения, т.е. в сочетании с терминами типа *республика, королевство, княжество, провинция, штат* и под., тенденция к несклоняемости действует намного сильнее, чем среди русских и славянских наименований, например: в *Королевстве Бельгия, Княжестве Лихтенштейн, в Великом Герцогстве Люксембург, в штате Вирджиния, в земле Рейн-Вестфалия, в Республике Гамбия, в Республике Кения* и т.п.

В “Ежегоднике” БСЭ за 1972 г. перечислены все географические названия с термином *республика*, в составе которых собственное наименование приводится в исходной форме, т.е. в именительном падеже: *Республика Замбия, Индия, Индонезия, Исландия, Малайзия, Кения, Колумбия, Мавритания, Либерия, Боливия, Нигерия* и т.д. В этом списке единственное название – *Федеративная Республика Германия*, в котором имя собственное стоит в родительном падеже, – является исключением. Форма родительного падежа собственного имени как исходная не свойственна русскому языку и, вероятно, калькирована из европейских языков (немецкого, французского, английского и восходит к латинскому языку), для которых оформление исходной формы названий с собственным именем в родительном падеже является нормой. Ср. *la ville de Paris, the city of London, la province de Bourgogne*. Очевидно, калькированием может быть объяснена и форма наименования – *Федеративная Республика Германии*.

Для русского же языка представляется предпочтительным единое употребление для всех сочетаний с примыкающим именем собственным в исходной форме в именительном падеже. Это соответствует существующей и действующей тенденции языкового развития – унифицированно оформлять топоним в качестве примыкающего приложения в именительном падеже (*Объединенная Республика Танзания, Республика Берег Слоновой кости, Королевство Саудовская Аравия* и др.). Именительный падеж в этих сочетаниях выполняет “назывательную” функцию. С этой точки зрения вариант *Федеративная Республика Германия* в исходной форме (т.е. в именительном падеже) может считаться предпочтительным: он соответствует литературной норме русского языка и в унифицированной форме вступает в ряд кодифицированных аналогичным образом административных номинаций. Дру-

гая сторона – это грамматическое оформление собственного имени в косвенных падежах. В этом случае на склоняемость влияет характер окончания. Исходная и косвенные падежные формы одинаково неизменны у групп топонимов на *-о-*, *-и-*, *-у-*, *-й* и твердый согласный (в *Республике Сан-Марино, Бурунди, Малави, Перу*; в *Республике Парагвай, Сингапур, Вьетнам, Заир, Эль Сальвадор* и под.).

Колебались в употреблении в 60–70-е годы топонимы, оканчивающиеся на *-а* типа *Республика Ботсвана, Республика Верхняя Вольта, Республика Коста-Рика, Республика Гватемала*. У большинства из перечисленных названий к 90-м годам упрочилась несклоняемая форма: из *Республики Верхняя Вольта, президент Республики Коста-Рика* и т.д.

Из всей группы топонимов на *-а* случаи достаточно устойчивого склонения в косвенных падежах зарегистрированы только у названия *Венесуэла: Президент Республики Венесуэлы, из Республики Венесуэлы* и под.

Самый сложный случай представляют собой наименования на *-ия*. Все славянские и тем более русские топонимы-приложения этой группы в косвенных падежных формах склоняются: *делегация из Республики Болгарии, в бывшей Республике Югославии* и под.

Случаи же несклоняемости иноязычных (не славянских) названий в косвенных формах хотя и зарегистрированы, но не повсеместны: *посол Республики Кения, в Республике Колумбия, в штате Калифорния* и нек. др.

Д.Э. Розенталь в “Справочнике по правописанию и литературной правке” (М., 1967) привел рекомендации: “Названия зарубежных республик обычно согласуются со словом *республика*, если имеют форму женского рода...: а) торговля с Республикой Индией; в Республике Швейцарии; правительство Республики Боливии...”.

Поскольку в официальном названии (Федеративная Республика Германии) до недавнего времени в административных справочниках использовалась форма родительного падежа даже для исходной формы, в косвенных падежах нередко употреблялась склоняемая форма: *из Федеративной Республики Германии; договор с Федеративной Республикой Германией* и т.д.

После воссоединения страны, когда пересматривались ее географические термины, решено было в деловых документах кодифицировать несклоняемую форму. Директор Европейского департамента подчеркнул этот факт в специальном документе такого содержания: «... 19 декабря 1995 г. Министерства иностранных дел России и Германии договорились не склонять по падежам слово “Германия” в полном наименовании государства “Федеративная Республика Германии” в официальных международных документах на русском языке.

Договоренность достигнута по настоятельной просьбе германской

стороны и на основании экспертного заключения Института русского языка РАН». Возможно, кому-то покажется, что решение это обусловлено «наивным политическим мышлением». Тем не менее предложенная форма несколько не противоречит сложившейся литературной норме: прецеденты закрепления несклоняемых географических названий в аналогичных номинациях терминологического типа уже имели место (ср. в *Республике Гамбия, Замбия, Кения, Намибия* и др.). Однако в разговорной речи употребляются и склоняемые варианты: *выехали из Республики Намибии; посетить Республику Кению* и т.д. Стилистическая оценка подобных вариантных форм в словаре будет дана непременно.

В процессе работы над переизданием словаря авторы сохраняют его основную особенность: соединение русской стилистической грамматики и словаря в одной книге. Поскольку в качестве базовой единицы словаря выступает грамматический вариант, его словник должен строиться, как и в первом издании, по типам вариантов. В словарной статье к каждому из типов вариантов необходимо не только дать развернутую грамматико-стилистическую характеристику отражаемого грамматического явления, но – что важно при обучении грамматической стилистике – показать современные тенденции, влияющие на складывающиеся и действующие в жизни нормы.

Идея объединения грамматики со словарем впервые была высказана в книге В.И. Чернышева «Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики» (СПб., 1911). Автор предполагал в дополнение к изданию «Опыта» выпустить и небольшой словарь. Рецензент И. Огиенко о книге В.И. Чернышева писал, что у него получилось «нечто вроде словаря неправильных слов и выражений, но голько расположенного не в алфавитном, а в грамматическом порядке». Этот труд повлиял и на выбор названия нашего словаря, и на его общую нормализаторскую направленность. Объединением грамматики и словаря достигается интегрированная и систематизированная задача обширного фактического материала. В конце книги будет помещен алфавитный словарь – указатель вариантов, снабженный всеми необходимыми отсылками и указаниями страниц, на которых варианты комментируются более детально, это облегчит пользование грамматической частью словаря. В словаре будет сохранен весь научно-справочный аппарат. Эта часть, как отмечали рецензенты, оказалась полезной студентам, аспирантам, преподавателям и научным работникам. Библиография дополняется современными работами, появившимися в печати за истекшие годы.

Основой любого словаря является фактический материал. Его обновление происходило прежде всего за счет языка современных средств массовой информации – газет, радио- и телевизионных передач. Были использованы также тексты деловой, профессиональной и научной ре-

чи, записи устной речи, язык художественной литературы. И конечно же, особое внимание обращено на случаи явных ошибок в письменных текстах. Так, в “Аргументах и фактах” в интервью с писательницей Ларисой Васильевой есть такие строки: «...Во все века даже властители понимали, что женщина порой крутила ими. У меня есть стихи: “Война – не женское занятие, но испокон во все века из-за ее туфель и платья сходились грозные войска”» (Е. Белостоцкая. Лариса Васильева не верит в сказку о ребре Адама // АиФ. 1997. № 39. С. 16). Жаль, что наши писатели забывают не только правила, но и блестящие реплики классиков. Помните, в прославленной и широко всем известной пьесе “Пигмалион” Бернарда Шоу в словесной перепалке Элизы Дулиттл и профессора Хиггинса фигурирует именно эта ошибка как характерологическое средство:

“Элиза... Даже если я умру, это вас не тронет. Я для вас ничего не значу – меньше вот этих *туфель*.”

Хиггинс (громовым голосом). *Туфель*.

Элиза (с горькой покорностью). *Туфель...*”

Пример поучительный. И современным известным писателям в словари иногда полезно заглядывать.

Еще одна иллюстрация. Фирма, связанная с рекламной группой “Эн Эф Кью”, организует выставку “World Parfum – 98” (почему бы не перевести по-русски?). Семинар, который в связи с этим событием проводит фирма, назван так: “Последние разработки в области декоративной косметики и тенденции сезонных *макияжей*”. Не является ли отклонением от нормы форма мн. ч. у существительного *макияж*? Это существительное (французского происхождения) со значением отвлеченного процессуального признака, ср. такого же типа слова *компрометаж*, *татуаж* (нанесение татуировки), *визаж*, *ажимаж* и под. (вспомним даже разг. *реагаж*). Слово *макияж* используется в двух значениях. Во-первых, как “искусство декоративной косметики, ее применение” (обучиться технике *макияжа*, дать советы *по макияжу*); во-вторых, как “средство, предназначенное для декоративной косметики”. Отвлеченные существительные такого типа употребляются обычно в единственном числе. Поэтому в пригласительном билете на выставку, организованную не для профессионалов, а для очень широкого круга посетителей, правильнее предпочесть традиционную форму единственного числа: “Последние разработки в области декоративной косметики и тенденции сезонного *макияжа*”. К слову заметить, иногда выбор той или иной варьирующей формы числа оказывается совсем не так прост, как может показаться на первый взгляд. В частности, отвлеченные существительные шире, чем прежде, в профессионально-технических сферах речи образуют формы множественного числа. Сейчас нет ни одного суффикса отвлеченности, который не допускал бы возможностей об-

разования формы мн. числа. Здесь могут быть приведены в качестве иллюстрации лишь немногие формы мн. ч. отвлеченных существительных в составе уже принятых и кодифицированных научных терминов: химия высоких *энергий*, теория *множеств*, физика высоких и низких *температур*, *теплоты* сгорания борорганических соединений, уровни *эволюций* во вселенной, *техники* древних мастеров, образования хромосомных *аббераций*, барабанные *грѣхоты* (термин металлургического производства), масштабные метки *дальностей*, сигналы *цветностей* (термин радиолокации и телевидения), сравнение индивидуальных *полезностей* (термин теории игр), *интенсивности* полей; линейки разных *длин* и *толщин* и мн. др. Передвижка по употребляемости новых слов и форм из пограничных сфер в общелитературный язык является, как писал С.И. Ожегов, “*существенным нервом развития языка*” (С.И. Ожегов. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974. С. 35). Взаимодействие лексикосемантического и грамматического начал в категории числа идет во многих случаях под знаком усиления грамматической регулярности форм. Заметна тенденция к вовлечению существительных, которым раньше были свойственны нестандартные соотношения форм числа (например, употребление только ед. ч. у отвлеченных существительных), в группу существительных с обычной грамматической оппозицией, обычным соотношением: ед./мн. Так, мы сейчас нередко можем услышать в телепередачах контексты типа “ему были предоставлены *эфирѳы*” (наряду с привычной прежде формой ед. числа) или в информационных передачах из МИДа: “У нас появились *озабоченности* по поводу Ирака”. Хотя в этом случае вполне могла бы быть использована и форма единственного числа.

Можно подчеркнуть те факторы, которые способствуют закреплению грамматических неологизмов в пределах нормы. Это прежде всего пустующая клетка в системе языка – лексическая или грамматическая. Затем частота употребления и расширение сферы распространения неологизма – его представленность не только в специальном языке, но и в других жанрово-стилистических группах текстов, рассчитанных на широкую аудиторию. Наконец, немалое значение имеет и сильная стилистическая позиция, позволяющая новообразованию как средству более выразительному лучше запомниться и утвердиться в памяти носителей языка.

Свобода коммуникации предусматривает и возможность обогащения языка, его грамматики самыми разными новообразованиями. Однако неологизм неологизму рознь. Явные ошибки, которые были приведены в статье, свидетельствуют не столько о словотворчестве, сколько о безграмотности. А.А. Реформатский справедливо полагал, что именно морфология составляет центр “языкового пространства”, а центр, как и столицу государства, надо защищать, оберегать и лелеять.



## КАК НЕКОТОРЫЕ СЛОВА “УХУДШАЮТ” СВОИ ЗНАЧЕНИЯ

И. И. КЛУШИНА,  
кандидат филологических наук

Переживаемая нами смена экономических, общественно-политических ориентиров не могла не отразиться на соответствующей лексике, вызвав колоссальные сдвиги в значениях и стилистической окраске слов.

Лексика, обслуживающая сферу идеологии, всегда имела высокую оценку в советском обществе. Так, “Словарь сочетаемости слов русского языка” под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина (М., 1983) дает следующие определения к существительному *коммунист*: “настоящий, активный...”; “С коммунистов брать пример”; “У коммунистов учиться чему-либо...”. Высокой оценкой были наделены и однокоренные слова *коммунизм*, *коммунистический*. Но современное словоупотребление в большинстве случаев переводит эти слова в область противоположную: “крах идеи мирового коммунизма”; “репутация строителя коммунизма стала сомнительной”; “вездесущее коммунистическое государство” и т.п. Это примеры из газет. Как видим, в языке современной публицистики эти слова начинают входить в семантическую область “отвергаемого”, “ухудшают” свое значение, приобретают негативный стилистический ореол. А такая номинация, как “посткоммунистический” (“посткоммунистическое государство”, “возрождение нашей посткоммунистической страны”, “посткоммунистический период” и др.), еще не зафиксированная словарями, но стремящаяся терминологически закрепить название нового этапа в жизни общества, переводит понятие “коммунизм” из области желаемого будущего в область “сомнительного” прошлого.

Сходная судьба у прилагательного “советский”. В толковом словаре С.И. Ожегова 1953 года издания оно имеет три значения. Причем на первом месте – “Относящийся к государственной власти Советов, осуществляющей диктатуру рабочего класса; к СССР, свойственный, принадлежащий стране Советов”. Второе значение слова *советский* связывает его с идеологией: “идеологически выдержанный, преданный интересам и задачам социалистического строительства”. На послед-

нем, третьем, месте стоит прилагательное, соотносимое с деятельностью советов как “различных коллегиальных органов”; “относящийся к деятельности в советах”. Это третье значение С.И. Ожегов в статье “Из истории слов социалистического общества” (1952 г.) признавал омонимичным первым двум: «Возникновение слова “советский” в период Февральской революции было рождением нового слова, новым пополнением словарного состава языка. Старое прилагательное, омоним, вошло в число выпавших из словаря устаревших слов».

Сегодня же этот омоним выдвигается на первое место и сохраняет свою нейтральную стилистическую окраску (см. словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 1992 года издания), а два других значения трансформируются в одно: “Относящийся к государственной власти Советов, свойственный, принадлежащий СССР”.

После революции с развитием значений прилагательное *советский* закрепляло за собой и торжественную стилистическую окраску. «Отражая процесс неуклонного внутреннего развития страны, термин “советский” раздвигает границы своего употребления, входит в новые синонимические и антонимические ряды, наполняется новым содержанием. Так, с дифференциацией нашей общественной действительности термин “советский” начинает употребляться в одном синонимическом ряду с прилагательными “государственный”, “правительственный», – писал С.И. Ожегов. Как видим, это слово “улучшало” свое значение, двигаясь по пути от стилистически нейтрального термина к термину, имеющему торжественную или официальную коннотацию.

Сегодня мы наблюдаем обратный процесс.

Изменение коллективной оценки обществом своих идеологических и политических установок повлияло на контексты, ранее окружавшие концептуальные для языка газеты слова. И прилагательное *советский* стало употребляться в нетипичном для него отрицательном значении: “скопление газов, затхлых лозунгов, пыльных вывесок, вышедших из моды советских машин и вышедшего из моды советского образа жизни”; “нужно сломать это советское мироощущение...”; “советская бюрократия” и т.п.

О.С. Ахманова отмечала, что «у слов стилистически “сниженных” имеет место в целом “ухудшение” значения» (Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1967. С. 265). Прилагательное *советский*, получившее в современном газетном словоупотреблении сниженную стилистическую окраску, становится производящей основой для резко негативной номинации “совок” (“совковый”). Это слово омонимично названию социально-низкого предмета (думается, такое совпадение не случайно, т.к. вызывает ассоциации, способные усилить пренебрежительный оттенок слова). Как отмечает В.Г. Костомаров (Языковой вкус эпохи. М., 1994. С. 177), «по внутренней форме слово

вписывается в длинный ряд метафорических названий людей с общим значением “глупый, тупой” – таких, как *балда*, *бревно*, *пень*, *дуб* и т.п.». А поэтому, в отличие от прилагательных “коммунистический”, “советский”, номинации “совок”, “совковый” способны вызывать стилистические впечатления вне контекста. Они сами окрашивают контекст, сообщая ему ту или иную настроенность: «А уж других и подавно не за что уважать: ведь они тоже “деградировавшие”, “совки” – что с ними церемониться?» (Комс. правда); “К сожалению, упрек в бездуховности я могу адресовать и нашим протестантам – все наш один совок!” (Лит. газета) и др.

Таким образом, прилагательное “совковый”, ставшее в один синонимический ряд с прилагательным “советский”, не только способствует закреплению за последним негативной стилистической оценки (“ухудшает” его значение), но и расширяет его семантический объем.

Как видим, существует несколько способов формирования отрицательного значения у нейтральных слов. Основной из них – это создание соответствующей окраски с помощью негативного контекста. Можно сформировать отрицательную оценку с помощью так называемой квазисинонимической ситуации (Т.Г. Винокур), когда в один ряд выстраиваются слова, близкие не по смыслу, а по негативной стилистической окраске: “Переход от коммунизма и сталинщины к нормальной жизни”.

При этом существует ряд многозначных слов, которые “ухудшили” только одно из своих значений (связанное с государственной, политической жизнью общества), остальные же значения остались нейтральными и не подверглись стилистической и семантической трансформации.

Так, в толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (М., 1992. С. 508) существительное *партия* насчитывает семь значений. И только первые два соотносят его с политической жизнью общества: “1. Политическая организация общественного класса или социального слоя, выражающая и защищающая его интересы, руководящая им в достижении определенных целей. 2. Коммунистическая партия Советского Союза”. Существительное *партия* в первом своем значении остается сегодня нейтральным: “...все партии являются парламентскими, кроме тех, которые запрещены законом” (Комс. правда) и т.п. Второе же значение этого слова становится отрицательным. Ранее КПСС отождествлялась с государственной системой, подменяла ее. Сегодняшнее переосмысление обществом этой системы (получившей название “тоталитаризм”) повлекло за собой и переоценку соответствующей номинации. Негативная коннотация закрепилась и за прилагательным *партийный*: “партийный трон”; “партийные бонзы”; “партийная наследственность”, а также за неологизмами, созданными путем сложения от

данной основы: “партгетеры”; “парткубышка”; “партийно-бюрократическая мафия”; “партийно-духовные авторитеты в вечно оскаленной рамочке патологических лиц” и др.

Все эти новообразования последними толковыми словарями не зафиксированы, поскольку их употребление в языке газеты является окказиональным. Особое место заняли недавно образованные, но регулярно используемые в языке газеты номинации “партократия”, “партократ”, “партократический” (“старая партократическая гвардия”, “артихекторы-партократы”, “в окружении президента полным-полно бывших партократов”).

“Словообразовательный словарь русского языка” А.Н. Тихонова 1990 года издания приводит более 50 слов, образованных от существительного *партия*. Но в этом длинном списке нет ни “партократов”, ни “партократии”. А “Толковый словарь русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, выпущенный двумя годами позже, уже определяет значения этих новых слов: “Партократ. Представитель партократии”; “Партократия. Правящая партийная верхушка” (С. 508). И хотя эти значения не снабжены стилистическими пометами, все же оттенок неодобрительности всегда сопровождает современное употребление данных слов.

В русском языке широко известны такие слова, как *плутократия*, *бюрократ*, *бюрократия*. В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой они толкуются так: “Плутократия. Политическое господство богачей, власть богатых”; “Бюрократия. Система управления чиновнической администрации, защищающей интересы господствующей верхушки”. Возникшие по той же словообразовательной модели, заключающие в себе один и тот же греческий корень *kratos* “власть” и означающие господство какой-либо определенной группы, новые слова впитали в себя и отрицательную окраску этих сближающихся по семантике слов (*бюрократы–плутократы–партократы* сегодня почти синонимы).

Интересен тот факт, что слова *демократ*, *демократия* (с тем же греческим корнем и образованные по той же словообразовательной модели), напротив, имеют положительный смысл и становятся антонимами к “партократии” и “партократу”, хотя ранее прилагательные *партийный*, *советский*, *социалистический*, *коммунистический*, *демократический* входили в один ряд с опорным словом *прогрессивный*.

Утвердившаяся в газетном языке и тяготеющая к норме отрицательная окраска неологизмов “партократ”, “партократия” накладывает свой отпечаток и на другие слова, близкие к ним по значению.

Так, существительное *аппаратчик*, стоящее в одном лексическом ряду с словом *партократ*, также получает негативный оттенок. Это слово было зафиксировано еще словарем Ф. Толля в 1863 году, но в своем первом значении: “Тот, кто обслуживает аппараты” (причем

здесь “аппарат” – прибор, техническое устройство, приспособление). Во втором значении – “работник аппарата” (где “аппарат” – совокупность учреждений, обслуживающих какую-нибудь отрасль управления, хозяйства) – это слово употреблялось мало, только в разговорной, непринужденной речи и совсем не встречалось на страницах газет.

Сегодня в печати существительное *аппаратчик* получило широкое распространение, причем его нейтральная окраска сменилась неодобрительной: “хмурые и непроницаемые аппаратные старики”; “испытанный, законченный, матерый аппаратчик” (Лит. газета).

Из семи значений существительного *система* только одно подверглось переоценке в наше время. Это четвертое значение, определяемое как “общественный строй, форма общественного устройства” (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка). Соотносимое прежде с положительно характеризующими прилагательными *гуманная, прогрессивная*, слово *система* перемещается в иной синонимический ряд: “в плену мифа о командной системе”, “последний оплот тоталитарной системы” (Комс. правда); “против нас работает вся далеко не разрушенная коммуно-советская система” (Лит. газета). А в таком словесном окружении, как “Есть ли право простить Систему?” (Лит. газета), “Мы сейчас полной мерой пожинаем плоды содеянного Системой”, “Он Систему на дух не выносил” (Комс. правда), уточняющие прилагательные к слову *система* не нужны. Оно в самом себе сконцентрировало весь отрицательный эмоциональный заряд, не перекладывая его на определения. При этом существительное *система* в данных словоупотреблениях сужает свое значение: не любая форма общественного устройства (подразумевающая такие ранее противопоставляемые понятия, как капиталистическая и социалистическая системы), но лишь социалистическая, советская.

И последний путь “ухудшения” значений – это вовлечение слова в разряд общественно-политической лексики с целью создать новое экспрессивное наименование, как правило, отрицательное.

Так, словарь С.И. Ожегова 1953 года издания существительное *номенклатура* определяет как “совокупность или перечень употребляемых в какой-н. специальности названий”. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 1992 года фиксирует второе значение этого слова: “собр. Номенклатурные работники, а также списки соответствующих должностей (разг.)”. Примеры современного употребления этого слова и образованного от него существительного *номенклатурищик* свидетельствуют не столько об их разговорной окраске, сколько об их негативной оценке современными журналистами: “вчерашняя коммунистическая номенклатура”; “прокоммунистическое тоталитарное ядро, куда вошли депутаты-аграрники и бывшие номенклатуришки” (Комс. правда).

Отрицательную характеристику приобретает и ранее нейтральное прилагательное *номенклатурный*, которое сочеталось с существительными *работник* или *кадры* и обозначало “работников, персонально назначаемых высшей инстанцией” (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка). Сегодняшние примеры расширения сочетаемости данного прилагательного также свидетельствуют о сдвиге в его значении: “номенклатурные блага”; “номенклатурный небожитель”; “номенклатурный порядок” (Комс. правда) и т.п.

Целый класс слов не только подвергся переоценке, но и выпал из активного фонда языка газеты, поскольку “изменения в общественной жизни находят непосредственное отражение не только в пополнении словаря новыми общественно-политическими терминами, но и в смещении и замене терминов, связанных со старым укладом жизни” (Лексика современного русского языка. М., 1968. С. 100). Это слова, названные Н.М. Шанским “советизмами”, т.е. “такие слова и фразеологические обороты, которые являются выражением и наименованием понятий, явлений, предметов, представляющих собой специфическую особенность нашей социалистической действительности” (Лексикология современного русского языка. М., 1972. С. 169). За 70 с лишним лет жизни советского общества они успели войти в основной словарный фонд языка, а на страницах газет употреблялись регулярно. Сегодня они архаизируются, получая негативную или ироническую стилистическую окраску.



***Русская реклама  
по  
американскому образцу?***

Н В МУРАВЬЕВА,  
кандидат филологических наук

Реклама – это нерусское изобретение – так думают многие. Поэтому, наверное, в поисках удачного решения авторы рекламных текстов интуитивно опираются на чужие образцы, которые кажутся им надежными. Давайте прочитаем одно из американских пособий по рекламе, написанное Гарри Картером, и подумаем, все ли эти рекомендации подходят нам (Эффективная реклама. М., Прогресс, 1991).

1. *Высказывайтесь просто. Добивайтесь простоты мысли, используйте повседневные, известные всем слова, краткие предложения, избегайте технического жаргона.*

Это, безусловно, важно. Многим нашим рекламным текстам недостает простоты: “Меховые пилоты. Аргентина – Турция. ст. м. “Китайгород” 917-98-21”. Пилоты – это летчики, те, кто управляет летательным аппаратом, но в рекламе говорится не о летчиках, а об их одежде (или обуви?). Такое жаргонное употребление слова *пилот(ы)* ведет к ограничению круга потенциальных покупателей.

“АОНЫ (Русь-22)”: сомнительно, что люди, которые не пользуются данным предметом, знают, что скрывается за данной аббревиатурой.

Бывает, что реклама становится запутанной из-за неудачного маке-

тирования (использование шрифтов, пробелов, специальных символов и т.д.).

“Кожа дубленки (два им. падежа или им. + род.? – Н.М.)

Покровка, 27

Широкий выбор дубленок, кожаных плащей, курток.

Отличное качество с гарантией”.

2. *Высказывайтесь интересно. Говорите увлекательно, с воодушевлением; старайтесь возбудить любопытство. Избегайте длинных, нудных перечислений, экстравагантных утверждений.*

Тоже хорошее правило. Правда, остается неясным – как его выполнить. Единственная конкретная рекомендация здесь касается построения фразы: чем меньше в рекламе однородных членов предложения и разных обособленных определений и обстоятельств, вставок – тем лучше. Громоздкие фразы не только выглядят монотонными, наукообразными, скучными; чтобы их понять, необходимы дополнительные усилия – значит, эти фразы нарушают и первое правило рекламы. А вот как заинтересовать потенциального покупателя, как возбудить его любопытство?

Прежде всего важно увлечься самому рекламисту. Если скучно вам, когда вы пишете рекламный текст, – будет скучно и вашему читателю. Но вашего воодушевления, конечно, недостаточно. Есть приемы, которые позволяют заинтересовать читателя. Даже тогда, когда фирма не предлагает покупателям ничего принципиально нового. Основная задача здесь – “сделать старое новым”. Этого можно добиться текстовыми средствами.

1. “Укрытия для всех

легковых автомобилей

Скидки оптовикам

Постановка и монтаж”

2. “Уютное тепло окон века

окна и двери

Перегородки из ПВХ

по немецкой технологии

фирмы века

Сохраняет тепло и обеспечивает звукоизоляцию

Знаменитое немецкое качество”

В первой рекламе удачно используется так называемый “эффект обманутого ожидания”. Он создается здесь особым приемом нарочитой непоследовательности (“неожиданной развязки”). Неполнота первой строки уводит читателя по “ложному” пути; вторая строка нарушает привычную, ожидаемую читателем последовательность или привычное толкование ситуации. “Промолчать о необходимом” – это лишь один из способов, которым рекламист может “запутать” адресата. Другие спо-

собы – “сказать лишнес” или “сказать то же, но иначе”. Именно в этом, а не в искажении реальной ситуации состоит “обман” рекламы. Такой способ подачи материала позволяет воздействовать на эмоции адресата. Но главное – таким путем в сознании потенциального покупателя устанавливается устойчивая связь: “слово” (наименование товара или услуги) – товар (услуга)”; позднее это слово будет символом, и всякий раз, когда человек будет сталкиваться с ним (независимо от ситуации), возникнет напоминание о соответствующем товаре или услуге.

Во второй рекламе тот же результат достигается приемом нарочитой двусмысленности (века – века).

А вот пример неудачной рекламы: “Мебель тоже похожа на хозяина” (и два рисунка: на одном – женщина, на другом – кресло, выполненные в стилизованной манере, что создает ощущение сходства между человеком и мебелью). Можно назвать это экстравагантностью или дурным вкусом, здесь возникают неудачные ассоциации, которые отталкивают потенциального покупателя – какому человеку захочется походить на кресло?

Самым простым средством “обновления старого” в рекламе будет, конечно, метафора (и шире – образное слово). Ее роль здесь необычайно важна: она без особого труда сочетает информативность с привлекательностью, нестандартно обозначает предмет и показывает его как бы с новой стороны, под необычным углом зрения. Однако в нашей рекламе слова-образы почти не встречаются. А если и используются, то найти здесь золотую середину рекламистам удастся далеко не всегда. Скажем, стандартная реклама “Реанимация мягкой мебели” может вызвать только комический эффект, хотя мы говорим “реанимация плановой экономики” в смысле “восстановление, возрождение чего-л. отжившего, использованного”, однако бытовой, предметный смысл сочетания “мягкая мебель” толкает нас к прямому смыслу слова “реанимация”.

*3. Высказывайтесь прямо. Быстро переходите к сути, уберите ненужные слова, особенно прилагательные. Пишите экономно, но не жертвуйте словами, необходимыми для поддержания стиля или ритма.*

От этого правила в русской рекламе, на наш взгляд, лучше отказаться. Для русского читателя текст без прилагательных – даже рекламный – похож на человека, которого слишком коротко подстригли. Мы “видим” товар – через прилагательные: “Фрутис – легкий и фруктовый”, “комстар – правило хорошего тона”; “Солнечный день прекрасен только с ними (реклама жалюзи)”. Другое дело, что выбирать прилагательные надо очень внимательно, а не так, как это иногда делается:

“Но есть офисные ATC NICOM  
немецкой фирмы SIEMENS,  
надежные и комфортные!”

*Комфортный* – это прилагательное от слова *комфорт* (совокупность бытовых удобств: благоустроенность и уют жилища, общественных учреждений, средств сообщения и др.); *комфортный* – значит наиболее благоприятный для нормальной жизнедеятельности организма (комфортная температура, комфортный климат). Но что значит “комфортные АТС”?

4. *Высказывайтесь утвердительно.*

С этим правилом, пожалуй, можно согласиться: утверждать лучше, чем отрицать.

5. *Руководствуйтесь здравым смыслом. Рассчитывайте на человека средних способностей.*

Это правило излишне, оно повторяет первое.

6. *Излагайте факты. Осторожно и умеренно расцвечивайте свою аргументацию.*

Реклама, безусловно, должна быть информативной. Но вот какие факты она должна представлять? Здесь есть несколько возможностей: назвать качество товара (лучший, надежный, необходимый и т.д.) или показать результат, который мы получаем после покупки данного товара.

На первый взгляд, кажется, что первый путь более простой, однако на этом пути могут возникнуть довольно сложные ситуации.

Прежде всего рекламисту необходимо решить, какие сведения о товаре будут даны в тексте и сколько их должно быть. Хорошая реклама никогда не стремится к максимальной полноте информации, и это вовсе не отторгает потребителя: не обязательно мне знать о товаре или услуге все, дайте только то, что задевает, притягивает мой покупательский интерес, и, по возможности, одно-два качества. Это может быть и уникальное свойство товара, выделяющее его среди других аналогичных предметов. И здесь исследование – хотя бы самое простое – помогает находить такие качества товара, о которых мы и не подозреваем вначале. Кстати, иногда излишнее знание о товаре, которое есть у рекламиста, мешает увидеть самое важное его достоинство с точки зрения обычного потребителя. Найденное преимущество надо выразить по возможности афористично, но просто, и это будет центром рекламного текста.

При этом избегайте штампов, они снижают воздействие рекламы:

“Тепло и уютно в любую погоду” (окна и двери);

“Тепло и уют в вашем доме” (электрические отопительные системы, вмонтированные в пол).

Подобные трудности наталкивают нас на мысль, что лучше в рекламном тексте описывать не качество товара, а результат, который ждет нас после покупки:

“Солнечный день прекрасен только с ними” (реклама жалюзи);

“Полюбить осень помогут... новые окна”

Еще продуктивнее в рекламе повествовать, а не описывать. Первый выигрыш: так можно избежать категоричности и навязывания чужого – для меня, покупателя, – мнения. Второй выигрыш: предложенные действия ведут меня к завершающему действию – покупке, но это завершающее действие не названо, уведено “за кадр”. Третий выигрыш: так можно построить интегрированную рекламу – рекламу, в которой одновременно рекламируется несколько разнородных товаров одного рекламодателя. Четвертый выигрыш: товар или услуга персонифицируется, т.е. возникает контакт не с вещью, а с человеком. С помощью такой рекламы в сознании потенциального покупателя устанавливается иная ассоциативная связь: не “слово – товар”, а “человек (персонаж) – товар (услуга, рекламодатель)”:

«Вы молоды, хорошо зарабатываете, но у Вас нет времени...

Вы уже не молоды, приближается время, когда Вы будете получать государственную пенсию...

Вы хотите помочь Вашим родителям или близким...

Со всеми этими проблемами Вам поможет справиться

Негосударственный пенсионный фонд “ИНКОМ-ПОЛИС”».

Правда, здесь очень важно учитывать, что нашу рекламу читает русский человек. Какой образ, какой персонаж рекламного события будет восприниматься со знаком “+”? Скажем, если мы выстраиваем рекламу на основе противопоставления “удачливый” – “неудачливый” человек, с каким образом надо связывать рекламируемый товар, чтобы получить положительный результат? Вспомним в связи с этим удачную (положительно оцениваемую аудиторией) телевизионную рекламу “TVIX” – с монтером, который лишает света целый квартал (город?). Чтобы ответить на эти вопросы, нужны специальные исследования (уже получены некоторые данные о том, как русские “видят” самих себя). мы же обсудим здесь только одну рекламу:

“Купить дешевле, чем угнать!

Цены ниже заводских, включают стоимость оформления,  
предпродажной подготовки и гарантийного обслуживания  
ГАЗЕЛЬ  
ВОЛГА”

В этой рекламе противопоставляются друг другу два образа, два персонажа: человек, который угоняет машину, и человек, который покупает машину. Ясно, что реклама предназначена людям, которые думают о покупке автомобиля. Тогда предположение, что они могли бы его угнать (как вариант приобретения) выглядит для них оскорбительным, особенно в русской аудитории.

*7. Будьте кратким.*

Это правило принимаем без комментария.

8. *Будьте правдивым и благопристойным. Не давайте сомнительных, экстравагантных или вводящих в заблуждение утверждений.*

В нашей рекламе это этическое правило остается пока далекой мечтой. Однако заявления типа “очень дешево!!!”, “самые низкие цены” оправдываются только в том случае, если они соответствуют действительности. Если же это ложь, мы выигрываем на этапе рекламирования, но затем наносим непоправимый урон репутации фирмы. Надо сказать, что за рубежом используется зазывающая реклама, “реклама при помощи живца”, когда сообщается об очень выгодных ценах или условиях покупки, а в магазине выясняется, что купить товар на объявленных условиях затруднительно или вовсе невозможно. Однако думается, что последствия такой рекламы на русском языке будут скорее отрицательными, чем положительными; и из-за низкой покупательской способности, и из-за психологических моментов (отношения русского человека к обману).

9. *Будьте не похожим на других и оригинальным. Не надо быть слишком умным, юмор, который вы используете в рекламе, должен быть прямо связан с ее идеей.*

Это правило ничем не отличается от второго и лишь показывает один из способов стать интересным для читателя.

10. *Повторяйте наиболее важные коммерческие аргументы. Читатель не обязательно читает все целиком, часто – бросает на рекламу только взгляд, поэтому сокращайте число доводов и повторяйте, акцентируйте, иллюстрируйте их.*

Очень интересная рекомендация, которую, однако, стоит принимать с одной оговоркой – как повторять ту или иную мысль в рекламе. Прямое повторение – плохо, ведь, “схватывая внимание” одной части аудитории, которая видит аргумент первый раз, вы теряете другую часть, которая уже видела этот аргумент и сочтет вас назойливым, что в русской аудитории воспринимается отрицательно. Поэтому не стоит повторять аргумент дословно, надо вводить его в подтекст.

11. *Стремитесь привлечь и удержать внимание. Особую ценность имеют слова и фразы, рождающие мысленные образы: “уютное жилье” лучше, чем “комфортабельный дом”.*

Это правило отчасти повторяет второе и девятое. Но в нем есть намек на интересную мысль, которую можно оформить как правило: “Говорите так, как будто обращаетесь к близкому человеку”.

12. *Говорите читателю, что он должен делать.*

Нет, с этим согласиться нельзя. Русская реклама выигрывает, если она не навязывает мне никаких действий, ничего от меня не требует. Наоборот, трудно назвать удачной рекламу сотового телефона:

«Сегодня вы пойдете и наконец купите сотовый телефон “GSM-900».

Смысл этой рекламы: вы были заняты какими-то не очень важными делами и не находили времени, чтобы купить такую незаменимую для вас вещь, как сотовый телефон, но больше так продолжаться не может, сегодня вы должны отложить все ваши “мелкие” дела и сделать самое важное – купить сотовый телефон. Трудно согласиться, что это настолько актуально для большинства из нас.

13. *Опробуйте средство рекламы.*

14. *Опробуйте текст и композицию объявления.*

Эти два правила относятся уже не к текстам рекламы, а к рекламной кампании.

15. *Избегайте прямых сравнений с конкурентами, называя их по имени.*

Да, это важно в любой рекламе.

Подведем итоги. В американских правилах рекламы есть то, что можно отнести и к русской рекламе, но есть и то, что оказывается ненужным или даже вредным. Вот основные правила русской рекламы:

- 1) будьте краткими;
- 2) будьте информативными;
- 3) говорите просто;
- 4) говорите интересно (оригинально, броско);
- 5) говорите лично, интимно.

Интересно, что в небольшом эксперименте (“Назовите десять правил рекламного текста” – таким было задание) в ответах повторяются первые четыре рекомендации. В наших представлениях о том, что такое хороший рекламный текст, мы часто требуем от него прямо противоположного: трудно быть информативными при краткости и простоте при броскости, необычности. Конечно, знание этих правил само по себе не гарантия абсолютного успеха, но начинать, по-видимому, надо именно с них.

## Язык прессы

“ПРИГЛАШАЮТСЯ ПИСАТЕЛИ САМЫХ  
ВЫСОКИХ КОНДИЦИЙ”

Н. А. РЕВЕНСКАЯ

Оказывается, мода может быть не только на пиджаки и прически, сковородки и автомобили, мода вторгается и в нашу речь. В последнее время все средства массовой информации безоглядно полюбили слово *проект*. Каких только “проектов” не встретишь на страницах печати, не услышишь по радио и телевидению! Вот некоторые примеры:

“Организация такого огромного *проекта*, как двухмиллионное паломничество, даст дополнительные очки организаторам” (Коммерсантъ-daily. 1997. 19 дек.); “Обнадеживает, что частный бизнес начал проявлять интерес к долговременным (!) *проектам*” (Труд. 1997. 19 дек.); «*Проектом* “Новогодних премьер” руководит Отан Асылкожаев» (речь идет о спектакле, который уже состоялся и будет повторяться. Общая газета. 1997. 18 дек.); «...первый канал наверняка составит нешуточную конкуренцию НТВ, продолжая свой уже раскрученный *проект* “Старые песни о главном”» (Век. 1998. № 1); “Галерея создана для проведения культурных *проектов* и художественных выставок” (Веч. Москва. 1998. 20 янв.); «Программа “Сладкая жизнь” исчезла с экрана. Почему? – Мне очень жаль, что канал не оценил этот *проект* и не смог найти ему правильное место в сетке. У Леонида Парфенова, главного продюсера канала, свое видение, в его поле зрения этот *проект* не попал» (из беседы корреспондента “Общей газеты” с генеральным директором компании “Телепроект” Любовью Шакс. 1997. 25 дек.).

Мы привыкли к тому, что *проект* – это “1. Разработанный план сооружения, постройки, изготовления или реконструкции чего-л. 2. Предварительный, предположительный текст какого-л. документа. 3. План, замысел” (см. Словарь русского языка. В 4-х т., Словарь русского языка С.И. Ожегова и т.п.). Но коль скоро все журналистское сообщество стало называть *проектами* мероприятия, программы, передачи, кинофильмы, спектакли и т.п. (уже состоявшиеся, осуществленные, а не планируемые), то оказалось рукой подать до словосочетания “пилотный проект” (газета “Капитал”) – ведь надо как-то обозначить проект “проекта”! Кстати, от пресловутой “презентации” уже появился глагол: *презентовать*: “Вчера международная платежная система Visa Int, Инкомбанк и банк МЕНАТЕП *презентовали* чиповую карточ-

ку Visa Ros Kart” (там же). Так *представляли* указанные банки новую карточку или *дали* ее – ведь возможно истолковать это слово в общепринятом смысле?

Вообще тяга к “красивому” у некоторых наших современников столь необузданна, что на пути к цели – отличиться, выделиться необычностью выражения обычного понятия – сносит все преграды, выдвигаемые здравым смыслом и языковым чутьем. А ведь такая погоня за эффектом при недостатке профессионализма, элементарных знаний может обернуться и безвкусицей, и бессмыслицей, и просто курьезом.

Так, автор большого материала в газете “Труд” (1997. 19 дек.), объясняя необходимость налаживания в сельском хозяйстве Алтая переработки продукции животноводства, заявляет: “Надо внедрять небольшие, но высокопроизводительные *модули* по переработке молока и мяса, пуха и шерсти”. Правильнее вместо *модули* было бы употребить *предприятия*, но это так просто, обыденно, а вот “модули” – экий шик! Хотя вряд ли этот физико-технический термин приложим к “рогам и копытам”.

“В Арт-клубе Центра социальной и деловой информации... регулярно устраиваются литературные вечера, куда приглашаются писатели самых высоких *кондиций*” (Веч. Москва. 1997. 27 дек.). Уместно ли в данном тексте слово *кондиция*? Ответ помогут дать словари: *кондиция* – это “1. Спец. качество, норма, которым должно соответствовать что-л. (тот или иной товар, материал и т.п.)”. В переносном смысле – в обороте “дойти, довести до кондиции”, т.е. до полного соответствия каким-н. требованиям (см. Словарь русского языка. В 4-х т. и др.). Автору заметки, очевидно, следовало бы сказать проще – *известные писатели, писатели самого высокого уровня* и т.п., но это так “неинтересно”, а вот “высоких кондиций” – это уже что-то новенькое.

“Сверкающие в свете фонарей Александровского сада снежинки придавали столпотворению поэтический *флёр*” (Веч. клуб. 1997. 18 дек.). Красиво, не правда ли? Но *флёр* – это тонкая, прозрачная ткань; в переносном смысле – полупрозрачный покров, пелена, дымка. Стало быть, *флёр*ом можно *покрыть, скрыть* под ним что-то, но *флёр* нельзя *придать*, как оттенок, окраску, ореол и т.д.

Принято считать, да так оно в большинстве случаев и есть, что все подобные огрехи на совести молодых журналистов, которые сейчас составляют основу коллективов средств массовой информации. Не знают они страха и упрёка ни за фактические, ни за языковые ошибки: другое время, другие требования. Тем досаднее встречать разного рода лягусы, выходящие из-под пера маститых публицистов, представителей еще “старой” школы.

Наверное, многие с интересом прочитали в “Вечерней Москве” (1998. 20 янв.) беседу Эд. Графова с Глебом Скороходовым, автором

телепередачи “В поисках утраченного”. Материал посвящен любимой всеми, замечательной актрисе Фаине Георгиевне Раневской: “Ну ладно, пока *суть да дело*, расскажи немного о Раневской” (должно быть “суд да дело”); “...это была единственная встреча Фаины Георгиевны Раневской с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. – То есть взаимной *симпатии не состоялось*” (*симпатия* не могла *состояться* не только со Сталиным, но вообще ни с кем, потому что это существительное сочетается с другими глаголами, среди которых *состояться* не встречается). Но это попутные замечания. Читаем далее: “Но, ты знаешь, с этой семьей у нее связана и довольно *симпатичная коллизия*”. Эта “симпатичная коллизия” состояла в том, что Светлана Сталина подарила Фаине Георгиевне в трудные послевоенные годы шубу, подарила искренне, и так же искренне, с благодарностью этот подарок был принят великой актрисой. Так что, скорее, это симпатичный *случай*, потому что *коллизия* – это столкновение каких-нибудь противоположных сил, интересов, стремлений и т.п.

Как тут не вспомнить знаменитое высказывание А.С. Пушкина: “Изучайте значение слов – и вы избавите свет от половины его заблуждений”.

Похоже, сейчас наступил рецидив застарелого “недуга”, которым страдало наше общество пару веков назад – преклонения перед Западом. Тогда русскую речь называли смесью французского с нижегородским. Теперь же увлечение американизмами переходит все допустимые границы. Один пример – из беседы с создателем рекламных роликов Михаилом Кудашкиным (газета “Капитал”): “– Как вы нашли актера для рекламы? – Актеры находятся через *кастинг*“. Видимо, предположив, что даже читателям “Капитала” трудно будет переварить этот *кастинг*, Михаил Кудашкин снизошел до объяснения, за что ему большое спасибо:

“– Ты придумал ролик и пишешь так называемый *кастинг-бриф*, т.е. рекомендации по подбору актеров. Пишешь: мне нужен человек 40 лет, с хорошей улыбкой, немного неуклюжий и т.д. Отдаешь его ассистенту по подбору актеров, и он тебе подгоняет кандидатуры”. *Кастинг* – слово английское, и одно из его значений – действительно, подбор актеров. Но, спрашивается, зачем нам этот “пришелец”, если ему вполне соответствует обычная, русская “заявка”? А затем, наверное, что так “красивее”, потому разве может какая-то неприятная “заявка” сравниться с шикарным заморским “кастингом”, да еще с “брифом”!

## БИБЛЕЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ\*

### Опыт словаря

Л.М. ГРАНОВСКАЯ,  
доктор филологических наук

#### *Нести свой крест*

Выражение вошло во все языки мира, означая: “нести свой труд, скорбь с терпением, разделяя это с другими людьми, помогая им”. Христиане носят крест на груди – символ служения Богу и людям.

Известно, что преступники, осужденные на распятие, должны были сами нести к месту казни кресты, на которых их распинали. Христос, измученный пытками, был не в силах нести тяжелый крест, и тогда один из солдат приказал случайному прохожему – крестьянину Симону, возвращавшемуся с поля домой, нести крест Иисуса.

Симон Кириянин разделил страдания Христа, его бремя.

Отец Александр Мень писал:

“Страшный знак креста – в то же время радостный и победительный. Мы потому его так и украшаем, что крест – орудие казни, виселица – стал и орудием нашего спасения. Так не оставим же Господа одного на кресте. Ведь с Ним был и Симон, который нес Крест, и разбойник, который покаялся, и наши малые кресты да будут рядом с Ним, чтобы нам с Ним страдать, с Ним радоваться, с Ним иметь жизнь вечную, вечную любовь, неумирающее солнце правды” (Проповеди протоиерея Александра Менья: Пасхальный цикл. М., 1991).

#### *Соль земли*

Это выражение употребляется в значении: “лучшая, наиболее активная творческая сила народа”; говорится о тех, кто составляет наиболее яркую и важную часть какой-либо общественной группы или организации, о лучших, выдающихся представителях государства.

Но в Евангелии смысл несколько иной: это значит, что своим примером ученики должны предохранять мир от порчи (как соль – пищу) и содействовать его нравственному здоровью, укреплять в нем веру, любовь к добру и деятельности.

“Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее?”

\* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1998. №№ 1, 2.

Ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!” (Евангелие от Луки. 14.34–35). Эта притча обращена к ученикам Иисуса: если человек отступает от праведности, то учение его, заражаясь гниlostью заблуждения, начинает действовать не целительно, а во зло. В Нагорной проповеди Иисус говорил: “Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?” (Евангелие от Матфея. 5.13).

“Соль – добрая вещь, – говорится в Евангелии от Марка, – но, ежели соль не солоната будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою” (9.50).

### *Манна небесная*

Используется в смысле: “то, что дается человеку свыше, без его труда; жить за счет чужой заботливости, надеяться на чудо”.

Манна была похожа на зерна кориандра, белые, как снег, которыми была покрыта вся земля в пустыне вокруг голодных израильтян во время их бегства из Египта. При виде их израильтяне спрашивали: “Мангу (что это?), на что Моисей ответил: Это хлеб, который посылает вам Господь”. Так была названа эта чудесная пища, посланная с неба и имевшая вкус муки с медом. Её нужно было собирать утром, до восхода солнца и хранить один день, иначе она портилась. В субботу она не падала, и следовало делать запас.

К таким же дарам небесным отнесен и дождь: “И одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им...” (Псалтырь. 77.24).

“Бедные валахи! Они и сыты и голодны. Есть у них пшеница, ячмень и всякий Божий хлеб, да нет манны небесной, т.е. слова истины, веры, надежды, любви” (Успенский Порфирий. Книга бытия моего. СПб., 1896. Т. III).

### *Милосердный самарянин*

Употребляется в значении “добрый, отзывчивый”; “пример христианского милосердия” (Михельсон М.И. Русская мысль и речь. М., 1997. Т. I).

В Евангелии от Луки говорится о некоем самарянине, который, увидев на дороге израненного разбойниками человека, не прошел мимо него (как это сделали священник и левит), а “перевязал ему раны, возливая масло и вино; и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем” (10.34). *Самарянин* – человек, который считался иудеями недостойным общаться с ними, очевидно, небогатый, но сотворивший добро. Само слово *самаряне* означает “стражи”, и названы они так потому, что в должности стражей поставлены были в земле или действительно были стражами Моисеева закона. По происхож-

дению – ассирийские колонисты (Рыбинский Вл. Самаряне. Киев, 1913).

Отцы церкви придали этой притче и другой смысл. Под видом пострадавшего от разбойников подразумевается вообще человек в его греховном состоянии, священник и левит – олицетворение ветхого закона, а под именем самарянина – Иисус Христос, который был святым врачом человеком человеческих ран.

Св. Астерий, проповедник, живший в IV веке, так объясняет притчу *о милосердном самарянине*. “Попавший в руки разбойников, избитый и сле жив суций – это Адам, изгнанный из рая, это все грешное человечество, поверженное в юдоль плача и скорби. Священник и левит – в таинственном смысле Моисей и Иоанн. Милосердный самарянин – Христос. А что такое осел? Это подъяремное Божественного Слова – есть подобное нашему тело, которое Он носил, в котором и чрез которое всех держа и нося, Он приводит к врачеванию и к церкви” (Цит.: Арх. Модест. Св. Астерий Амасийский. Его жизнь и проповедническая деятельность. М., 1911).

### *Бесплодная (неплодная) смоковница*

В Евангелии от Матфея сказано, что Иисус, выйдя из Вифании, “взалкал”. “И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла” (21.19).

Выражение *бесплодная смоковница* в словарях идет с пометой: *устар., неодобр.* “бездетная женщина” (Ожегов – Шведова. Словарь русского языка. М., 1995). По мнению исследователей, “неплодная смоковница” означает еще вообще нераскаянного грешника, проклятие ее – наказание сего грешника. Святитель Филарет писал: “Человек, предающийся удовольствиям настоящей жизни, подобен смоковнице: он не имеет плода духовного для алчущего Иисуса, а одни только листья, т.е. преходящий призрак мира сего” (Бухарев И. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 1899).

### *Иерихонская труба*

Употребляется в значении “громкий, трубный голос”; *голос, как труба иерихонская* – очень громкий, звучный. В Книге Иисуса Навина рассказывается, что воины его не могли взять Иерихон, пока Бог не предал этот город в руки осаждавших. По повелению Бога. “все способные к войне” обходили стены города шесть дней, а семь священников, несших семь труб юбилейных, затрубили в них, и стены города разрушились до основания. “В то время Иисус поклялся и сказал: про-

клят пред Господом тот, кто восстановит и построит город сей Иерихон” (6.25).

Некоторые исследователи высказали следующее предположение: ханаанские города строились на костях человеческих, и когда Иисус Навин затрубил в трубы, мертвые восстали из праха. Ханаан был против жертвоприношений, и город погиб.

“[Нина Литовцева] Только ты, Василий Иванович, один и шумишь. Голос-то, как иерихонская труба” (Мариенгоф А. Моя молодость, мои друзья и подруги).

### ***На реках вавилонских (При реках Вавилона, у рек вавилонских)***

О грустном состоянии души (Михельсон. Указ. соч.).

Восходит к 136 Псалму: “При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе”. После завоевания Навуходонсором Иудеи жители её были вывезены в Вавилон на принудительные работы, а покоренная страна доведена до страшного опустошения.

«Сидя на “реках Вавилонских изгнания”, плакальщики замечают в России только смерть» (Слоним М. Живая литература и мертвые критики // Литература русского зарубежья. М., 1990. Т. I. Кн. 2); «Многие ли из зарубежных писателей имели талант волновать своей лирой сердце целого народа, очутившегося “на реках Вавилонских”, как это делал скромный москвич Иван Шмелев своей единственной темой – Россией» (Сорокин О. Творческий путь И.С. Шмелева в эмиграции // Русская литература в эмиграции. Сборник статей под ред. Н.П. Полторацкого. Питтсбург, 1972).

Производными являются сочетания *плач вавилонский, вавилонская тоска*:

О Трубецкой и Волконской  
Дедушка пел и вздыхал,  
Пел – и тоской вавилонской  
Келью свою оглашал

*Некрасов. Дедушка*

### ***Соляной столб***

Чаще всего употребляется в сравнении: *как соляной столб* или в сочетании: *превратиться в соляной столб* – “о чем-то статичном, неподвижном, застывшем”.

В Библии говорится, что когда Лот с семейством покидал по велению Бога страну, несмотря на запрет, из любопытства “жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом” (Первая книга Моисеева. Бытие. 19, 26).

По мнению Оригена, Лот, который не оглянулся назад, знаменует высшую духовную разумность, между тем, как жена его есть образ плоти, а плоть стремится к греху, озирается, ищет удовольствий. “Соляной столб указывает здесь, кажется, на неразумие женщины, так как соль означает мудрость, которой недостает женщине” (Цит.: Барсов Ник. История первобытной христианской проповеди (до IV века). СПб., 1885). “Вспоминайте жену Лотову” – рефрен в трактате Григория Сковороды “Книжечка о чтении Священного Писания, нареченная Жена Лотова” (Сковорода Г. Сочинения. В 2-х т. М., 1973. Т. 2).

Образ застывшей жены Лота встречается во многих произведениях художественной литературы. Анна Ахматова описала ее как человека, которому горько было расставаться с городом, где она прожила всю жизнь:

И праведник шел за посланником Бога,  
Огромный и светлый, по черной горе.  
Но громко жене говорила тревога:  
Не поздно, ты можешь еще посмотреть  
На красные башни родного Содома,  
На площадь, где пела, на двор, где пряла,  
На окна пустые высокого дома,  
Где милому мужу детей родила.

Взглянула – и, скованы смертною болью,  
Глаза ее больше смотреть не могли;  
И сделалось тело прозрачною солью,  
И быстрые ноги к земле приросли.

Кто женщину эту оплакивать будет?  
Не меньшей ли мнится она из утрат?  
Лишь сердце мое никогда не забудет

Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

*Ахматова. Лотова жена*

На поверхности прозрачен,  
Все темнее в глубине.  
Как он мудр, и как двузачен  
Миф о Лотовой жене.

Тот же смысл его заветный,  
Что недвижностью объят,  
Кто на прошлое заветный  
С вождельем бросит взгляд.

Иль – свидетели разгрома –  
Те и столп, и соль земли,  
Кто из дома, хоть Содома,  
Без оглядки не ушли?

*Альтман М. Лотова жена*

Созвучен мотив *Лотовой жены* русской эмигрантской писательнице Н.А. Тэффи, навсегда покидавшей свою родину: “Дрожит пароход, стелет черный дым. Глазами, широко, до холода в них, раскрытыми, смотрю. И не отойду. Нарушила свой запрет и оглянулась. И вот, как жена Лота, застыла, остолбенела навеки и веки видеть буду, как тихо-тихо уходит от меня моя земля” (Тэффи. Ностальгия).

### *Каинова печать*

От имени *Каина* – одного из сыновей Адама и Евы, убившего своего брата Авеля. Каину после убийства брата было запрещено общаться с людьми. Это обрекало его на жизнь изгнанника и скитальца. Боясь, что всякий встречный может убить его, Каин стал жаловаться Богу. “И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его” (Бытие. 4, 15). Братоубийцу, опасавшегося мести людей, Бог уверяет в безопасности и грозит семикратным мщением тому, кто осмелился бы убить Каина. Жизнь Каина была пощажена для того, чтобы дать ему время на покаяние и винушить, что право карать смертью убийцу принадлежит прежде всего Богу, а потом – людям. В жизни Каина наказание было более тяжким, чем скорая насильственная смерть, ибо вид обезображенного, отмеченного печатью отвержения человека внушал страх, отвращение и ужас всем, кто его видел. Выражение *каинова печать* стало употребляться в значении “клеймо преступления”. Имя *Каин* тоже стало нарицательным: им называют преступника, убийцу. В литературном языке используется также выражение *отметить каиновой печатью*.

«Люди меня боятся, “убивцем” зовут, а тогда я все одно как младенец был, печати этой каиновой на мне еще не было» (Короленко В.Г. Убивец); “Мы знаем, что на наших бжах лежит каинова печать. В течение столетий лежал АVELЬ в крови и слезах, потому что мы забыли о Твоей любви... Прости нас за то, что мы распяли Тебя вторично” (Из высказываний папы Иоанна XXIII. Цит.: Жан-Поль Лихтенберг. От Первого до Последнего Праведников. М., 1996); “Когда я мысленно разглядываю все эти лица, одухотворенные предстоящими страданиями или отмеченные печатью Каина, меня поражает, главным образом, полное отсутствие сюрпризов в нашей среде” (Яновский В. Поля Елисейские // Звезда. 1991. № 1).

### *Святая святых*

Так называется в Библии внутренний храм Иерусалимский, “в котором хранимы были ковчег с двумя досками закона божия, сосуд с ман-

ною и чудотворный жезл Ааронов и в который одному только первосвященнику единожды в год входить дозволялося” (Словарь Академии Российской. СПб., 1794. Ч. V).

В Словаре М.И. Михельсона “Русская мысль и речь” читаем: “Святая святых (иноск.) место, мало или совсем недоступное для непосвященных, вообще, – сокровенное, как напр. кабинет ученого, специалиста, помещение редкостей любителя и т.п.” (Т. II). “О чем-л. самом важном, недоступном для непосвященных” (Словарь русского языка. В 4-х т. М., 1984. Т. IV). Таким образом, выражение *святая святых* может означать: 1 – особо оберегаемое, недоступное помещение; 2 – место, к которому относятся с почтением; 3 – помещение, в котором ведутся особо ответственные работы; 4 – внутренний, сокровенный мир человека; 5 – нравственная основа, убеждения человека.

Семантическая трансформация этого фразеологизма изложена в книге А.М. Бабкина “Русская фразеология, ее развитие и источники” (Л., 1970). “Рядом с названием святилища это и обозначение особой святыни – остатков специальных жертв, приносимых в Иерусалимском храме”, которые съедались священниками у скинии. Следовательно, здесь выделяются два значения: 1 – важнейшая часть храма, недоступная для непосвященных; 2 – жертвенный хлеб, съедаемый жрецами голько в храме. “Они и послужили основой для закономерного развития переносных значений, с которыми это выражение употребляется в современном русском языке” (Там же).

*Продолжение следует*



*Забывтый проект  
реформы  
русского алфавита*

*В.Г. ДОЛГУШЕВ,  
кандидат филологических наук*

В № 4 журнала “Цветник” за 1809 год появилась статья Дмитрия Ивановича Языкова “Замечания о некоторых русских буквах”. Журнал этот “оправдал” свое название и оказался недолговечным. Он издавался известным в начале XIX века поэтом-сатириком А.Е. Измайловым (1779–1831) совместно с А.П. Бенитцким (1782–1809), рано умершим даровитым поэтом и прозаиком, автором произведений морально-дидактического и философского характера. В 1810 году Бенитцкого на посту редактора сменил поэт П.А. Никольский (1794–1816). Журнал “Цветник” отражал взгляды петербургского “Вольного общества любителей словесности, наук и художеств”. Его корреспонденты выступали за новаторство в литературном языке, за освобождение языка от устаревших церковнославянизмов и архаических конструкций, против последователей Шишкова. Таким образом, появление статьи Д.И. Языкова в “Цветнике” отнюдь не носило случайного характера. В ней последовательно проводилась мысль о назревшей необходимости реформы русского алфавита. Что же представляет собой автор статьи, столь дерзко покусившийся на самый нелегкий и неблагоприятный труд реформирования графики?

Д.И. Языков (1773–1845) был членом петербургского “Вольного общества”, одно время оно даже собиралось на его квартире в здании Главного правления училищ. Много лет он служил в департаменте народного просвещения, а в начале 1835 года стал непререваемым секретарем Российской академии вместо П.И. Соколова, “умершего на щите, то есть на последнем корректурном листе своего словаря”, по выражению А.С. Пушкина. Неутомимый труженик, Д.И. Языков всю жизнь много и плодотворно работал и заслуженно получил звание ординарного академика. “Как рано ни придешь бывало, – вспоминал о Языкове А.П. Милюков, – непременно увидишь его в кабинете, за письменным столом, обложенным книгами” (Милюков А.П. Воспоминание о Д.И. Языкове // Исторический вестник. 1884. № 4). Важнейшим занятием ученого во время его членства в академии было составление им церковнославянского словаря. Этот труд был оборван кончиной автора.

В истории литературы Д.И. Языков известен как переводчик. Ему принадлежат переводы сочинения итальянского просветителя XVIII века Ч. Беккариа “Рассуждение о преступлениях и наказаниях” (1803), труда Ш.Л. Монтескье “О духе законов” (1800–1814), работы немецкого историка, статистика и публициста А.Л. Шлецера по истории русского летописания “Нестор”, ряда других работ западноевропейских ученых.

В своей статье в журнале “Цветник” Д.И. Языков предложил исключить из русской азбуки некоторые дублетные буквы, обозначающие один и тот же звук. К таким буквам относились *І – иже*, *И – ижеи* (по мнению Языкова, из них нужно оставить лишь *І*); *Е – есть*, *Ѣ – ять*, *Э – е оборотное* (следует оставить *Е* и *Э*), буквы *Ө – фита* и *Ф – ферт* (оставить только *Ф*). Кроме того, из алфавита нужно убрать буквы *Ү – ижица* и *Ъ – ер*, поскольку они не обозначают отдельных звуков. Свои рассуждения Языков строит в форме предполагаемой полемике с М.В. Ломоносовым и А.П. Сумароковым.

В “Замечаниях о некоторых русских буквах” Языков высказал верную мысль о том, что кириллица – древний славянский алфавит – была создана на основе греческого. Отдавая должное ее создателю, “который имел благоразумие и смелость изобрести особливые знаки для тех звуков, которые не имели греки”, автор вышеупомянутой статьи вместе с тем указывает на то обстоятельство, что некоторые буквы, имевшие в греческом языке разное звуковое значение, в кириллице получали одно, что сделало обучение грамоте довольно сложным делом.

Наиболее интересны, на наш взгляд, рассуждения Языкова о буквах *ять* и *ер*. Буква *ять*, обозначавшая в древнерусском языке особый звук типа напряженного *e*, в начале XIX века свое древнее звуковое значение утратила; она, “потеряв настоящий свой выговор, походит на древний камень, не у места лежащий, о который все спотыкаются и не

относят его в сторону затем только, что он древний и некогда нужен был для здания”, – образно пишет Языков.

М.В. Ломоносов доказывал необходимость сохранения буквы *ять* для русской графики следующими причинами: 1) необходимо переручивать определенную часть грамотных людей, привыкших к старому правописанию; 2) тем, что в украинском языке, или, как тогда говорили, в малоросском наречии, буква *ять* продолжает обозначать особый звук; 3) буквы *ять* и *Е* служат в русском языке средством разграничения одинаково звучащих форм, образованных от разных слов, в частности глаголов типа *лѣчу–лѣтеть, лечу–лечить*.

Д.И. Языков в ответ на эти высказывания М.В. Ломоносова предлагает следующие контраргументы в пользу отказа от особой буквы (графемы) *ять*: 1) к новому правописанию без *ять* “приучиться можно и скоро и легко”; 2) украинские говоры в начале XIX века считались местным наречием единого русского языка, поэтому оставить букву *ять* по причине того, что в украинских говорах *ять* и *е* различаются, нецелесообразно: “Ежели иметь уважение к малоросскому наречию, то и прочие русские наречия по справедливости могут требовать сего же. Да и кто видал, чтобы господствующее наречие затруднилось для областного?” Мысль Языкова о том, что в литературном языке должны быть выработаны единые орфографические правила, безусловно, справедлива; 3) значение омоформ типа *лѣчу–лѣтеть, лечу–лечить*, по мнению Языкова, обусловлено прежде всего *контекстом*, а вовсе не разницей в их написании. Для подтверждения этого тезиса Языков приводит такие примеры: ср. *печь пироги – пѣчь надобно перекласть*.

Ломоносов, как это общеизвестно, указывал на то, что в XVIII веке в высоком штиле *ять* и *е* различались в произношении. Языков подчеркивал, что в начале XIX века буквы *ять* и *е* обозначают один звук: “Некоторые меня уверяли, что будто ѣ произносится ниже *Е*, но видно природа не одарила меня таким хорошим слухом, ибо в великорусском наречии совершенно не слышу сего различия”. Языков предложил вместо букв *ять* и *е* оставить лишь *е* или вновь ввести в употребление диграф (двухбуквенное сочетание) *ie* в начале слова, после гласных, а также после “безгласных” ъ, ь. Букву э, по мнению Языкова, также следует оставить для обозначения соответствующего звука после твердых согласных в иностранных словах. Если же снова ввести диграф *ie*, то Э можно исключить из алфавита совсем.

Языков в своей статье “Замечания о некоторых русских буквах” предвосхитил открытие А.Х. Востокова, сделанное им в “Рассуждении о славянском языке” (1820), в котором ученый определил звуковое значение буквы, называемой *ер*. Языков пишет о том, что в древности буква Ъ действительно обозначала особый звук. Теперь же, в связи с тем, что этот особый звук утрачен, отпала необходимость и в особой

букве Ъ. Он указывал, что первым, кто перестал употреблять эту букву, был Директор Академии наук С.Г. Домашнев. Языков попытался продолжить эти начинания. В качестве эксперимента в 1808 году он напечатал свой перевод сочинения неизвестного немецкого автора "Сравнения, замечания и мечтания, писанные в 1804 году во время путешествия одним русским". В этой книге отсутствуют буквы ъ и *фита*, а в предлогах и приставках, чтобы отделить их от знаменательных слов, вместо буквы ъ употреблен апостроф: *к' колязкѣ, под' ѣзжает*.

Идеи Языкова о графической реформе русского алфавита опередили свое время на сто лет. Однако статья его не осталась незамеченной современниками. В двадцатые годы XIX века появилось еще одно сочинение, возможно вдохновленное статьей Языкова. В этом сочинении снова предлагалось усовершенствовать русскую азбуку. Называлось оно "Рукопись покойного Клементия Акимовича Хабаровова, содержащая рассуждение о русской азбуке и биографию его, им самим писанную, с присовокуплением портрета и съемка с почерка сего знаменитого мужа". Автором этой литературной мистификации был племянник А.Е. Измайлова, сотрудник издававшегося Измайловым журнала "Благонамеренный" П.Л. Яковлев (подробнее см.: Долгушев В. Вятская элегия (Диалектизмы в прозе П.Л. Яковлева) // Русская речь. 1985. № 4). По-видимому, в кружке Измайлова постоянно обсуждались вопросы, связанные с реформой русской графической системы, а некоторые из ближайшего окружения Измайлова реализовали свои идеи на практике. Так, например, Измайлов в письме П.Л. Яковлеву в Вятку сообщал, что поэту В.И. Панаеву Российская академия присудила золотую медаль "с оговоркой, что он портил русский язык, печатая Ё вместо ЪО" (Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1978. Т. VIII).

Киров



## ЧИН СВАДЕБНЫЙ

М.В. СТАРОВОЙТОВА

Далеко не каждый из наших современников может, к примеру, более или менее точно определить смысл выражения, вынесенного в заглавие нашей заметки.

Попробуем разобраться. Значение последнего слова в выражении *чин свадебный* определяется легко: прилагательное *свадебный* имеет значение “относящийся к свадьбе” (БАС); слово *свадьба* здесь имеет значение “торжество брака” (Срезневский И.И. *Словарь древнерусского языка*. М., 1989). Лексема *чин* требует более подробного комментария, краткой этимологической справки. Слово *чин* по происхождению общеславянское, т.е. его возникновение в языке относится к тому историческому периоду, когда еще не произошло разделение славян на восточных, западных и южных (примерно около VI в. н.э.). Слово *чин* является суффиксальным производным (суффикс *-п-*, срв. *стан*) от той же самой основы, что и греческое *ποιέω* “делаю”, древнеиндийское *saṃāti* “составляет, строит” (срв. русск. *учинить* “сделать”). Исходно *чин* имело значение “строй, действие, порядок”, затем – “подчинение, определенное место в ряду” и “должность”. В нашем выражении слово *чин* используется именно в его исходном, первоначальном значении: “строй, действие, порядок”. Следовательно, выражение *чин свадебный* означает не что иное, как “строй свадьбы”, “порядок свадебных действий”, т.е. строй, порядок действий во время свадебного ритуала, ход свадьбы, ее “сценарий”.

Как видите, история с радостью приоткрывает свои маленькие секреты. Она предоставляет нам уникальную возможность – самим убедиться в истинности известного высказывания И.И. Срезневского: “Народ и язык один без другого представлен быть не может...”. Еще

одно доказательство тому – наш свадебный “сценарий”, *чин свадебный*, является историко-культурным памятником древнерусской литературы XVI века.

Русский свадебный ритуал – один из основных источников для изучения жизни русского народа. Большой интерес с точки зрения истории обряда представляет XVI век – период становления русского абсолютизма. В это время разрозненные удельные княжества объединяются под властью Москвы и возникает сильное централизованное великорусское государство, формируется русская нация, а вместе с ней создается и новый тип языка – национальный русский язык. Этот период, кроме того, характеризуется стремлением к упорядочению различных сторон частной жизни широких кругов народа.

Правовые нормы и юридические законы этого времени определены в так называемых “Судебниках” 1497, 1551 и 1586 годов. Нравственные же нормы и нормы морали и этики подчинялись другим законам, представленным, например, в таком знаменитом памятнике, как “Домострой”, в первую редакцию которого как самостоятельная, 67-я глава входил “Чин свадебный”. Это своеобразный сборник правил и нравов учений, которыми всякий благовоспитанный человек должен был руководствоваться как в своей семейной жизни, так и в общественных отношениях, своего рода “моральный кодекс”.

В том виде, в каком он дошел до наших дней, “Чин свадебный” представляет собой литературный текст, не совсем еще оформившийся как литературный памятник делового и бытового характера. Он знакомит нас с некоторыми нормами нравственного и морального поведения. Как констатирует проф. В.В. Колесов, в “Чине свадебном” изображается “парадная праздничная часть ритуала, описывающая начало семейной жизни и вместе с тем прообраз последующих ее будней”. “Чин...” представляет собой свадебный ритуал, традиционную свадебную обрядность средневековой Руси, переданную при помощи языковых средств.

В окончательном тексте “Домостроя” (редакция Сильвестра) мы, к сожалению, не находим “Чина свадебного”. Вероятно, благовещенский протопоп не придавал большого значения событиям “Чина...” в ряду других, более важных событий домашней жизни.

Однако, как уже было сказано, в первую редакцию “Домостроя” “Чин...” входил как самостоятельная глава. Кроме того, существуют полная и краткая редакции “Чина...”, а также “Указ Чину свадебному”, что подтверждает значимость данного памятника в историко-культурном развитии русского народа.

Говоря о языке памятника, нельзя не отметить его простоту и краткость. Все события в нем описываются фрагментарно; отдельные “нелитературные” моменты свадьбы опускаются совсем. Крупным пла-

ном изображаются опорные, знаменательные моменты всего обряда в целом. Общераспространенная терминология ритуала, конечно же, изменялась в ходе исторического развития общества, но сам обряд с древнейших языческих времен сохранил свои основные признаки.

Все действия обряда представлены в “Чине...” в определенной последовательности, обязанности каждого участника ритуала определены строго и однозначно в каждый конкретный момент действия. Обычаи христианской церкви явно оттеснены на задний план языческими обрядами.

“Чин свадебный”, как и сам “Домострой”, является нормативным памятником, поэтому естественно отличие описанного в “Чине...” свадебного обряда от его этнографических описаний и фольклорных записей, от существовавших в жизни обычаев. В зависимости от конкретных обстоятельств (достаток, сословная принадлежность вступающих в брак и пр.) допускалось четыре различных варианта ритуала. Кроме того, свой отпечаток накладывали на обряд и региональные особенности. В результате чего текст памятника имеет иногда довольно существенные различия с описаниями свадьбы очевидцами и учеными, собирающими подобный материал.

Свадебный ритуал – явление многообразное и динамичное, а его традиции постоянно эволюционируют в связи с изменениями социального и хозяйственного уровня жизни людей, что ведет, в свою очередь, к изменениям, сокращениям и даже исчезновениям целых элементов обряда и связанных с ними названий предметов, лиц, признаков и действий. Часть слов исчезает потому, что исчезают обозначаемые ими реалии. Другие слова заменяются более употребительными синонимами. Третьи утрачивают свое специфическое “свадебное” значение вследствие трансформации и сокращения самого ритуала. Четвертые переходят в пласт диалектной или разговорной лексики и сохраняются там до поры до времени только благодаря тому, что живы еще в отдаленных российских глубинках русские народные традиции.

*Санкт-Петербург*

## Из истории некоторых русских фамилий

И.А. КОРОЛЕВА,

кандидат филологических наук

“Фамилия – своего рода живая история”. Эти слова известного ономаста В.А. Никонова как нельзя лучше характеризуют то особое положение, которое занимают фамилии в качестве основного компонента именованного человека. Они прошли долгий и трудный путь становления, весьма богаты и разнообразны по структуре; многие русские фамилии интересны и даже загадочны по семантике основ. Немало могут они рассказать и об истории языка. Фамилия – это слово, и как слово она составляет неотъемлемую часть языка и подчиняется его законам.

Особенно колоритны и неповторимы фамилии, образованные от прозвищных имен с диалектными основами. Именно они содержат в себе богатую лингвистическую, историческую, этнографическую и культурологическую информацию.

В настоящей статье мы предлагаем читателям некоторые материалы из истории отдельных русских фамилий с диалектными основами, бытование которых засвидетельствовано на территории Смоленского края. Однако, учитывая миграционные процессы в разные исторические эпохи, география фамилий может быть более широкой.

*Бонтяев.* Первое упоминание прозвищного имени *Бонтяй* находим в начале XVII века: “... увидел дорогобуженина Бонтяя Занина” (Готье Ю. Памятники обороны Смоленска 1609–1611 гг. М., 1912). Сразу же отметим, что нигде более на русской территории антропоним не засвидетельствован. Отсутствует в древнерусских и старорусских источниках и апеллатив, от которого образовано имя собственное.

Определить семантику антропонима помогают современные смоленские говоры, в которых бытует существительное *бонт* “перекрытие на реке из связанных и закрепленных бревен”, известное в Дорогобужском районе Смоленской области (Словарь смоленских говоров. Смоленск, 1974. Вып. 1; далее ССГ). Весьма интересно, что сведения о прозвищном имени XVII века относятся также к дорогобужской территории. Возможно, антропоним был узколокальным.

В настоящее время слово *бонт* “заграждение реки из нескольких бревен”, помимо смоленских, зафиксировано только в пермских говорах, местах вторичного заселения, что еще раз подтверждает региональный характер старого имени (Словарь русских народных говоров. Л., 1968. Вып. 3; далее СРНГ). Суффикс *-яй* был достаточно активен

как при образовании форм христианских имен, например, *Митряй*, *Петряй* и пр., так и нехристианских – *Жердяй*, *Ширяй* и др. На наш взгляд, *Бонтяй* – это тот, кто ставил бонты на реке или изготавливал их. Безусловно, имя было локальным и дало начало редкой фамилии *Бонтяев*.

*Брылев* (*Брылёв*, *Брылевич*, *Брылькин*). Впервые в смоленских источниках нехристианское имя *Брыль* отмечено под 1692 годом: Брыль Третьяков, смоленский мещанин (Приходо-расходные книги Болдина Дорогобужского монастыря. Русская историческая библиотека. Пг., 1923. Т. 37). В дальнейшем антропоним как имя, прозвище и фамильное прозвание выявлен нами в смоленской письменности XVII–XVIII веков шесть раз, что говорит о его достаточной активности в Смоленском крае прошлых лет.

Еще дважды на западных русских территориях в XVI–XVII веках засвидетельствовано старое прозвищное имя *Брыль* (Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб., 1903). Бытовало оно и на территории Белоруссии (Бірыла М.В. Беларуска антрапанімія. Мн., 1969. Ч. II).

Апеллятив *брыль*, от которого было образовано старое имя, пока не найден. Однако известно, что некоторые слова, не найдя отражения в памятниках письменности по тем или иным причинам, засвидетельствованы в них в составе ономастической лексики. Таким образом, изучение имен собственных помогает расширить сведения о составе лексики древнерусского и старорусского языков.

Определить семантику диалектной основы помогают современные говоры. На Смоленщине слово *брыль* бытует с несколькими значениями: 1 – “круглая шляпа с полями, преимущественно мужская”; 2 – “шапка, картуз”; 3 – “поля шляпы”; 4 – “kozyрек шапки, картуза и т.п.”; 5 – “край чего-либо” (ССГ. Вып. 1). Выявленный нами антропоним *Брыль* позволяет считать, что в смоленских говорах XVI–XVIII веков тоже бытовал апеллятив *брыль*, скорее всего со значением “головной убор” (трудно сказать точно, какой именно). Имя, возникшее на его основе и давшее начало целому ряду фамилий, относилось к числу метафоризированных прозвищных имен, обозначавших предметы домашнего обихода.

Слово *брыль* “круглая шляпа с полями” известно было и старобелорусскому языку (Носович И.И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870). В настоящее время оно бытует в составе лексики белорусского литературного языка. Таким образом, можно предположить, что как апеллятив *брыль*, так и прозвищное имя *Брыль* на русской территории имели локальный характер, были общими со старобелорусским языком. На наш взгляд, это связано с историческими судьбами смоленских земель, которые именно в XVI веке (время наиболее частых фиксаций

лексем) вместе с белорусскими территориями входили в состав Речи Посполитой. Подтверждается это и фактами современной белорусской антропонимии: у того же М.В. Бирилло засвидетельствован целый ряд фамилий, образованных на основе старого прозвищного имени и частично общих со смоленскими – *Брыль, Брылеўски, Брылек, Брыленак, Брылеў, Брылькоў*.

*Варакса (Вараксин)*. Род Вараксиных, как указывает С.Б. Веселовский, хорошо известен на Смоленщине в XVI–XVII веках (Ономастикон. М., 1974). Возможно, уже фамилия *Вараксин* отмечена в челобитной смоленских шляхтичей об отпуске: "... да еще смольнянин Петр Вараксин руку приложил" (Смоленский исторический музей. 1672 г.). Помимо Смоленского края, Вараксины жили в Новгороде и Звенигороде (Веселовский. Указ. соч.).

Можно предположить, бытование современной нестандартной фамилии *Варакса* подтверждает и то, что существовало старое прозвищное имя *Варакса*, которое пока еще в исторических источниках не выявлено. Не найден также и апеллятив *варакса*, поэтому для объяснения семантики основы, которая скорее всего была локальной, обращаемся к материалам В.И. Даля. Там слово *варакса* представлено с несколькими значениями: 1 – "плохой писарь"; 2 – "плохой мастер"; 3 – "болтун, пустомеля" (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I; далее Даль). К сожалению, ареал лексемы строго не очерчен. С более общим значением – "пачкун, неряха" – существительное *варакса* бытует в современных владимирских говорах (СРНГ. Вып. 4).

На наш взгляд, в основе старого антропонима реализовывалась общая негативная семантика, что в какой-то мере подтверждают и современные смоленские говоры. На Смоленщине в разных районах распространен глагол *варакаться* "пачкаться, грязниться" (ССГ. Вып. 2). Возможно, значение старого прозвищного имени, давшего начало фамилиям, было неоднозначным: 1 – "плохой работник"; 2 – "грязнуля"; 3 – "болтун" – но, бесспорно, отрицательным.

*Долбня (Долбнев)*. Под 1607 годом мы находим запись о жителе деревни Алексеевка, что недалеко от Смоленска, Федоре Долбне (Приходо-расходные книги Болдина Дорогобужского монастыря). На русской территории, помимо смоленских источников, засвидетельствована лишь одна фиксация прозвищного имени на юге России (Тупиков. Словарь древнерусских личных собственных имен). Однако весьма часто прозвищное имя в разных вариантах – *Долбня, Довбня, Довбенья, Довбенька* – встречается в старобелорусских и староукраинских текстах (Бірыла. Указ. соч. Ч. I; Редько Ю.К. Сучасні українські прізвища. Київ, 1966).

В русских исторических словарях апеллятив *долбня* отсутствует, а в старобелорусском языке бытовало слово *долбня* и с прямым значени-

ем “колотушка”, и с переносным “бестолковый человек” (Носович. Указ. соч.). В современных смоленских говорах существительное *долбня* имеет аналогичные значения: 1 – “дубина, палка”; 2 – “тупой человек” (ССГ. Вып. 3). Ареал лексемы *долбня* в современных русских говорах неширок: в прямом значении это смоленские и новгородские говоры, в переносном – смоленские, курские, орловские, калужские, костремские (СРНГ. Вып. 8). На наш взгляд, имя *Долбня* попало в Смоленский край из юго-западных регионов (обратим внимание, что в старобелорусских и староукраинских источниках антропоним фиксируется гораздо раньше, чем в смоленских). Отметим также, что в старобелорусских памятниках письменности засвидетельствовано и прозвище имя *Довбень*. Возможно, что этот антропоним бытовал и в Смоленском крае – на это указывает фамилия *Долбнев*, но пока еще не найден в источниках. Исходным же существительным для всех восточнославянских апеллятивов многие исследователи считают литовское *dou\_ba* “яма, ров”. Переносное значение, как они предполагают, возникло позднее, и уже на славянской почве.

*Дюденев (Деденев)*. Интересна история этой фамилии. Как писал С.Б. Веселовский, Дюденева происходили от ростовца Дюденья, который около 1330 года переселился в Московское княжество. В XV веке его потомки писались *Дюденева*, а позже – *Деденева*. Во второй половине XVI века они получили большие поместья в Смоленске (возможно, в связи с переселением после присоединения Смоленска к Москве в 1514 г.) и осели там. В 1294 году первый Дюдень был послом Золотой Орды в Москву (Веселовский. Указ. соч.). На ростовские корни Дюденевых указывает и Н.В. Тупиков, однако ни тот, ни другой исследователи не дают толкования основы фамилии, которая, по всей вероятности, была локальной.

Апеллятив *дюдень* в исторических словарях не представлен, поэтому семантика антропоосновы спорна. Возможно, какую-то семантическую параллель можно найти со словом *дюдя* “дядя или дедушка”, которое бытует в современных ярославских говорах. В курских говорах активно существительное *дюдечка* “гусенок” (СРНГ. Вып. 8). Однако наиболее интересный вариант объяснения находим в смоленских говорах. В начале XX века бытовал глагол *дедить (дюдить)* “колдовать” (Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914). Суффикс *-ень* известен старым прозвищным именам: *Пехтень, Скребень* и др. Примечательно, что оба варианта фамилии зафиксированы среди современных смоленских фамилий.

*Желнерев (Желнырев)*. Основой засвидетельствованных фамилий послужило старое прозвищное имя *Желнырь*, отмеченное в начале XVII века в материалах Ю. Готье: Савва Желнырь (Памятники обороны Смоленска 1609–1611 гг. М., 1912). Помимо смоленской, еще одну

фиксацию находим в словаре Н.М. Тупикова: Желныйрь Назарий, солдат польско-литовский (1610 г.). Зато весьма часто прозвищное имя в разных вариантах: *Жалныйрь*, *Жолныйрь*, *Жовныйрь*, *Жовныйрь*, *Жалныйрь*, а возможно, и др., регистрируется старобелорусскими и староукраинскими источниками. В частности, в материалах М.В. Бирилло (с 1528 по 1717 годы) представлено одиннадцать прозвищных имен с рассматриваемой антропоосновой. Таким образом, очерчивается довольно прозрачный ареал бытования старого прозвищного имени – юго-западные регионы.

Апеллятив известен – это слово *желныйрь* (*жолныйрь*, *жалныйрь*) “наемный солдат в польско-литовском войске”. Все тексты, в которых засвидетельствована лексема, либо юго-западного происхождения, либо описывают польско-литовские войска (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1978. Вып. 5). Бытовало существительное *желныйрь* (*жолныйрь*) и в Смоленском крае XVI века, когда он входил в состав Польско-Литовского государства (Борисова Е.Н. Лексика Смоленского края по памятникам письменности. Смоленск, 1974). Еще в начале XX века рассматриваемый апеллятив – *жовныйрь* “солдат” – было активно на Смоленщине (Добровольский. Указ. соч.), но в настоящее время ушло в пассив, оставшись только в составе фамилий.

*Зеленугин*. Довольно редкая фамилия в прошлом имеет соответственное прозвище: “бельский крестьянин Пашко по прозвищу Зеленуга” (Государственный архив Смоленской области. 1701 г.). Нигде более в русских ономастических источниках антропоним нам не встретился. Лишь однажды в старобелорусских текстах Гродненщины засвидетельствовано аналогичное прозвище *Зеленуга* (Устинович А.К. Антропонимия Гродненщины и Брестщины. XIV–XVIII вв. Минск, 1970).

Апеллятивное соответствие находим в современных смоленских говорах: *зеленуга* “незрелая ягода, плод”. Помимо смоленских, слово бытует в калужских и орловских говорах, т.е. имеет весьма узкий ареал (СРНГ. Вып. 11). Смоленские областные словари подтверждают активность лексемы *зеленуга* “незрелая ягода, незрелый плод” на Смоленщине (ССГ; Добровольский. Указ. соч.).

*Зьяло*. Уникальная фамилия встретилась нам в материалах Починковского ЗАГСа Смоленской области. Она имеет соответствующее прозвищное имя, которое тоже выявлено нами в смоленских источниках прошлого лишь однажды: “Зьяло Семенов, Вяземский уезд, XVI в.” (Сокращенная литовская летопись. Смоленская старина. Смоленск, 1911. Вып. I. Ч. 2.). Еще один пример – и тоже смоленский – засвидетельствован у С.Б. Веселовского: смоленский князь Зьяло Михаил Андреевич. Объяснение семантики антропоосновы дается через значение глагола *зьять*, *зьять* “сиять, блеснуть” (Веселовский. Указ. соч.). Возможно, *Зьяло* – “сиявший, блестящий”. Глагол *зьять* “сиять, свер-

коть” в настоящее время отмечен в вятских, пермских, свердловских и тобольских говорах, как видим, в северных или местах вторичного заселения (СРНГ. Вып. 12). Интересно, что лексема засвидетельствована и в смоленских говорах начала XX века, хотя это и не отражено в СРНГ (Добровольский. Указ. соч.). В настоящее время апеллятив на Смоленщине не сохранился, а вот старое прозвищное имя с весьма узким, как нам кажется, ареалом, по-прежнему живет в виде редкой нестандартной фамилии *Зьяло*.

*Мигдальный*. Эта редкая современная фамилия выявлена нами в материалах Руднянского ЗАГСа Смоленской области, и в таком варианте в истории фамилий Смоленщины ее бытование не зафиксировано. Однако в одном из текстов XVIII века находим фамильное прозвание, а возможно, уже фамилию *Мигдалов*: “... братья Мигдаловы на белском кружечном дворе...” (Российский государственный архив древних актов. 1746 г.). В ономастических трудах подобная антропооснова нам не встретилась.

Естественно предположить, что существовало и прозвищное имя *Мигдаль(ъ)*, для которого в истории языка нетрудно определить апеллятив: в древнерусском языке с XIV века известно слово *мигдаль(ъ)*, “миндаль” (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 9). Скорее всего слово не было локальным, но нечасто использовалось в языке и имело немного фиксаций в памятниках письменности по семантическим причинам. А вот антропонимы, на наш взгляд, были региональными, с весьма узким ареалом. Слово *мигдаль(ъ)* “миндаль” у Даля уже не представлено. СРНГ фиксирует его еще в начале XX века в тверских, близких к смоленским говорах (СРНГ. Вып. 18), но потом лексема окончательно ушла из языка, сохранившись только в составе антропонимов.

Мы рассмотрели историю лишь нескольких современных фамилий с диалектными основами, которые в настоящее время засвидетельствованы на территории Смоленской области. Однако даже этот небольшой фактический материал позволяет увидеть, как сложные исторические судьбы Смоленщины нашли отражение в антропонимии края.

*Смоленск*

## Топонимика



## Топонимический словарь Центральной России\*

Г. П. СМОЛИЦКАЯ,  
доктор филологических наук

**Плѣс** (1925). Город в Ивановской области. В основе названия апеллятив *плѣс* (*плѣсо*) “широкое водное пространство”, “участок реки, однородной по судоходным средствам”, “прямой участок реки между перекатами”. В последнем значении апеллятив стал топонимом. В действительности город Плѣс расположен на правом берегу Волги в середине длинного прямого участка реки. Этот термин весьма активен в топонимии России: *Плес* в Пензенской и Саратовской областях, *Плесо* в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях и даже в восточной части Германии, на Балканах в Словении.

плѣсчане, плѣсчанин  
плѣсский, -ая, -ое

**Плещѣево**. Озеро в Переславском районе Ярославской области. Более ранние названия *Клещино*, *Переяславское* – вероятно, по городу Клещин, а затем по Переславию. Происхождение названия *Плещеево* не выяснено. Существует несколько версий, по одной из которых его соотносят с апеллятивом *плѣс* “участок реки между перекатами, обычно с ровным течением”. По отношению к озеру эта версия неприемлема, так как необъясненным остается суффикс *-ев*. По другой – в основе названия видят апеллятив *плеск*, т.е. плещущее озеро, часто покрываемое волнами. Не исключено, что название *Плещеево* (после *Клещино*, *Переяславское*) произошло от фамилии известного боярского рода *Плещеевых*, которые имели крупные земельные вотчины в Переславском уезде. Но не укладывается в эту версию тот факт, что, как

\* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. №№ 1, 2.

правило, в русской топонимии название водного объекта часто становилось фамилией тех, кому принадлежали земли в бассейне этой реки или озера, а не наоборот.

**Плюсса** (1971). Рабочий поселок во Псковской области. Название дано по реке Плюсса, на которой было основано поселение. Гидроним *Плюсса* можно соотнести с литовским *plyšis* “узкая щель, отверстие” (Невская. Балтийская географическая терминология), т.е. *Плюсса* “узкая река с крутыми берегами”. Возможно, такого же происхождения река Плисса, которую В.Н. Топоров и О.Н. Трубачев считают балтизмом (Топоров, Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья). Ср. также *Заплюсье* – рабочий поселок за рекой Плюссой (Псковская обл.).

плюссовцы, плюссовец

плюссский, -ая, -ое и плюссовский, -ая, -ое

**Поворино** (1954). Город в Воронежской области. Название первоначально относилось к железнодорожной станции, расположенной вблизи села Поворино (современное *Рождественское*). В основе топонима, вероятно, апеллятив *поворина* “поперечная либо косая деревянная связь, укрепа между двух досок или брусьев” (Даль. IV), но не в прямом значении. Видимо, рельеф напоминал поворину – холмы, возвышения, расположенные поперек или косо на данной местности, как это наблюдается с апеллятивом *веря*. См. *Веря*. Не исключено антропонимическое (через фамилию) происхождение.

повбринцы, повбринец

повбринский, -ая, -ое

**Подверни́ха**. Русское село в Мордовии на р. Шекшеевка. Как считает И.К. Инжеватов (Топонимический словарь Мордовской АССР), в названии отражается способ приобретения села – подвернулось по случаю или в подарок, по наследству и т.п. Подобный принцип номинации был довольно широко распространен в топонимии Мордовии в XIX веке: деревни *Ожега* (Подверни́ха), *Китаевка* (Подверни́ха), *Податиха* и *Липовый Остров* (Подвали́ха). Село Подверни́ха тоже имело двойное название – *Ново-Шекшеевская Слобода* (Подверни́ха).

подверни́хинцы

подверни́хинский, -ая, -ое

**Подвислово**. Село в Рязанской области. В источнике 1620 года – *Слобода Подвислая*. Вероятно, село располагалось под *вислым* лесом, в котором преобладали породы деревьев (или одна порода) с повисшими, опустившимися вниз, гибкими сучьями. В ярославских диалектах известно слово *висловатый* “с сучьями, трудно поддающимися колке (о дровах)”. (СРНГ. Вып. 4).

подви́словцы

подви́словский, -ая, -ое и подви́слый, -ая, -ое

**Подольск** (1781). Город в Московской области. В основе названия апеллятив *подол* “склон горы, холма, возвышенности” или “место под горой, холмом, возвышенностью”, как правило, у реки. У восточных славян *подол* (и *посад*) – это место проживания городского люда в отличие от вышгорода – места пребывания князя и знати. Подолы были во многих древнерусских городах, в том числе и в Москве (между южной стеной Кремля и левым берегом Москвы-реки). Прежнее название Подольска село *Подол-Пахра* и *Подол*, т.е. селение, расположенное под горой, холмом, возвышенностью у реки (р. Пахра). Топонимы от апеллятива *подол* известны у западных и южных славян.

подольча́не, подольча́нин, подольча́нка

подо́льский, -ая, -ое

**Подпорожье** (1956). Город в Ленинградской области. В прошлом здесь проживали крестьяне-лоцманы, переселенные Петром I из бывшего Боровичского уезда. Название дано по географическому расположению города: у порогов (под порогами) на реке Свири, затопленных в результате возведения Верхне-Свирской ГЭС (Кисловский. Знаете ли вы? Словарь географических названий Ленинградской области).

подпоро́жцы, подпоро́жец

подпоро́жский, -ая, -ое

**Покров** (1778). Город во Владимирской области. Название дано по церкви *Покрова пресвятой Богородицы*, воздвигнутой в этом селе, ставшем впоследствии городом. Топоним по названию церкви – частое явление в российской топонимии, особенно в Центральной России.

покрóвцы, покрóвец

покрóвский, -ая, -ое

**Поленово**. Населенный пункт в Тульской области. В названии отражена фамилия известного русского художника *В.Д. Поленова* (1844–1927). Фамилия (прозвище) *Полено*, *Поленов* известна у русских с самого начала XVI века: Семен Полено, крестьянин, 1501 г., Белоозеро (Веселовский. Ономастикон). Первоначально сами Поленовы называли это место *Борок*.

В.Д. Поленов поселился здесь в 1892 году и создал своеобразный музей изобразительного искусства. Поленово связано с лучшими именами русской культуры. Потомки В.Д. Поленова продолжают расширять и совершенствовать этот музей-заповедник.

поле́новцы, поле́новец

поле́новский, -ая, -ое

**По́лома**. Села в Нижегородской и Ивановской областях. Данный топоним неоднократно повторяется в Центральной России и к северу от этой территории. Несомненно, в основе названия лежит географический термин *полома*, а ареал распространения дает основание связывать его с разными значениями слова: *полома* “бурелом, завалы пова-

ленного леса” и *полома* “завалы леса, образовавшиеся от лесной рощи, предназначенной под пашню” (см. соответственно: Мурзаев. Словарь географических названий и Трубе. Как возникли географические названия Горьковской области). Л.Л. Трубе связывает термин *полома* с *лом*, *ломать* “делают рощище, ломать лес”. Он же приводит название *Поломский лес* из романа Мельникова-Печерского “В лесах”. Вполне вероятно связь указанной топонимии со словом *лом* (от него и *полома*) в значении “болото, пойменный луг с кочкарником; заболоченное место, затор на реке из поваленных деревьев”. В этих значениях слово *лом* и топонимы, образованные от него, известны в некоторых славянских и балтийских языках.

полбóмовцы

полбóмский, *-ая, -ое* и полбóмовский, *-ая, -ое*

**Полотняный Завод** (1925). Рабочий поселок в Калужской области. Происхождение названия прозрачно. Оно связано с тем, что в XVIII веке здесь был основан завод, изготовлявший различные полотна, преимущественно для парусов; позже здесь появилась и бумажная фабрика. Полотняный Завод принадлежал предкам Н.Н. Гончаровой, жены А.С. Пушкина. Он бывал здесь в 1830 и 1834 годах.

полотнянозавóдцы, полотнянозавóдец, *местн.* завóдцы, завóдец

полотнянозавóдский, *-ая, -ое*

**Поныри** (**Поныры**). Рабочий поселок в Курской области. Название неоднократно повторяется в Центральной России, на Украине, в некоторых других славянских странах: реки Понора, Понура, Понара, населенные пункты Понуровка, Понорница и др. В основе названий, несомненно, термин *понор* (*поныр, понырь*), имеющий ряд значений на разных территориях, связанных с поглощением воды, реки. Это и воронки в колодцах, в реках, через которые вода уходит под землю (преимущественно в карстовых образованиях). В Центральной России оно известно в форме *понырь* “подземный поток”, “жила воды в карстовых образованиях”.

поныревцы и поныровцы

понырёвский и поныровский, *-ая, -ое*

**Поплёвинский**. Поселок городского типа в Рязанской области. До 1950 года – село Поплёвино. Оно упоминается в рязанских платежных книгах за 1595–1597 годы. Название антропонимического характера – в этих же книгах указаны его владельцы Афонька, Ивашка и Игнат Поплевины. Эта фамилия была известна еще в XV веке: Поплева, Поплевины – Григорий Васильевич Поплева Морозов, боярин, умер в 1492 г., от него Морозовы-Поплевины (С.Б. Веселовский. Указ. соч.).

поплёвинцы, поплёвинец

поплёвинский, *-ая, -ое*

**Поруб** (**Керфу**). Мокшанский поселок в Мордовии, возник в

20-х годах XX века. По сведениям И.К. Инжеватова (Топонимический словарь Мордовской АССР), поселок получил это название потому, что был основан на месте порубки, поруба – вырубленного леса.

порубинцы

порубский, *-ая, -ое* и порубинский, *-ая, -ое*

**Порхов** (1346)\*. Город в Псковской области. Происхождение названия окончательно не выяснено. По предположению А.И. Попова, в основе топонима лежит личное мужское имя славянского происхождения *Порх* (Попов. Следы времен минувших). Такое имя, видимо, существовало в Древней Руси, хотя в антропонимических источниках этого периода его нет. Известны производные от него фамилии *Порхов*, *Порхан*, *Порхачев* (Веселовский. Указ. соч.). Топонимы встречаются в памятниках письменности XV века, относящихся к новгородским пятинам, например, *деревня Порхово* в Вотской пятине. В летописях есть предпологаемое более раннее упоминание о Порхове: в 1329 году был основан Порховский городок, который в 1777 получил статус города.

порховичи, порхович, порховичка и порховчане, порховчанин,

порховчанка; порховцы, порховец

порховский, *-ая, -ое*

*Порховцы* – *толоконники*, т.е. любят есть толокно – блюдо из толченой или молотой овсяной муки с водой, молоком или маслом.

**Посоп**. Рабочий поселок; в настоящее время вошел в черту города Саранска в Мордовии. Село Посоп основано в середине XVII века. Название, вероятно, от слова *посоп* – “сыпка хлеба (*посыпать*) и подать с него зерном, хлебом же; *крестьяне на посопе*, на хлебном оброке” (Даль. Т. III). Такая форма выплаты подати была распространена среди нерусского населения Среднего Поволжья, которое называлось ясачными или посопными людьми (Инжеватов. Указ. соч.).

**Потьма**. Мокшанский рабочий поселок, село и деревня в Мордовии. В основе названия мокшанское слово *потма* “глушь, глубинка, отдаленное место в лесу” (Инжеватов. Указ. соч.). Название широко распространено в Мордовии не только в форме *Потьма*, но и как *Новая Потьма*, *Старая Потьма*, *Тарханская Потьма* и др.

потьминцы, потьминец,

потьминский, *-ая, -ое* (потьменский) и потемский, *-ая, -ое*

**Почеп** (1503)\*. Город в Брянской области. Название прозрачно, в основе его русское диалектное *почеп* “жердь или веревка, на которой подвешивается ведро над колодцем”. Вероятно, селение выросло около колодца с почепом, который отличался от других колодцев, или такой колодец установили в селении.

почепцы, почепец и почепчане, почепчанин, почепчанка

почепский, *-ая, -ое*

**Починок** (1926). Город в Смоленской области. В основе топонима

русское диалектное *починок* с общим значением “начало чего-л.” Чаще всего обозначает типы поселения (с XIV в.) “новое поселение в лесу около рощисты”, “поселение на месте лесных разработок или на пустоши”, “новая пашня, рощисть в лесу”. Слово очень активно в топонимии и, как правило, относится к небольшим селениям – деревням. Топонимы *Починок*, *Починки* есть почти во всех областях Центральной России.

починковцы, починовец

починковский, -ая, -ое

**Пошехонье** (1777). Город в Ярославской области. С 1918 года по 1992 город назывался *Пошехонье-Володарск*, в память о революционном деятеле В. Володарском, уроженце этих мест. В основе названия древняя форма гидронима *Шексна* – *Шехонь* (*Шехна*). Первоначально оно, видимо, относилось ко всей местности, о чем свидетельствуют приставка *по-* и суффикс *-ья*. Гидроним *Шексна* (*Шехонь*) не имеет удовлетворительного объяснения. Его пытаются вывести из финно-угорского материала, соотнося с финским *kähna*, эстонским *hähn*, саамским *čášne*, марийским *šiste* “дятел” или с мордовским (эрзя) *seksej* “пестрый дятел”. Попытка видеть в *шек* (> *шох*) славянскую основу неубедительна. Не исключено, что в основе гидронима апеллятив *чехонь*; *чеша* “вид рыбы” *Surginus cultratus*. В силу особенностей местных говоров Пошехонья возможна мена *ч* > *ш* и наоборот.

пошехонцы, пошехонец, пошехоньы, пошехон

пошехонский, -ая, -ое.

*Пошехонцы в трех соснах запутались. На сосну лазили, Москву смотрели. Ноги под столом перепутали.* Поскольку Пошехонье находилось в отдаленном от центра лесном краю – медвежьему углу, то и жители его стали символом дремучести, наивности и даже глупости, о чем говорят приведенные пословицы, поговорки и прозвища пошехонцев.

**Поя.** Село в Нижегородской области. Топоним дан по названию реки *Пойка*, на которой основано село. Гидроним первоначально, видимо, имел форму *Поя*, превратившуюся в уменьшительную форму, что часто встречается на территории Центральной России, когда название реки при основании на ней одноименного топонима приобретает уменьшительную форму: город *Орел* по реке *Орел* > *Орлик*, село *Мстера* по реке *Мстера* > *Мстерка* и др.

пюенцы и пюинцы

пюенский, -ая, -ое и пюинский, -ая, -ое

*Продолжение следует*

### Топонимика

Известный топонимист, создатель многочисленных трудов о географических названиях, постоянный автор нашего журнала со дня его основания – Эдуард Макарович Мурзаев 1 июня отмечает свое 90-летие.

Коллектив “Русской речи” от всей души поздравляет Эдуарда Макаровича и желает ему крепкого здоровья, долголетнего плодотворного творчества и сотрудничества с журналом.

## АМУР

Э.М. МУРЗАЕВ,

доктор географических наук

На Дальнем Востоке России течет широкая и полноводная река Амур. Ее истоки находятся в Восточной Сибири, Северо-Восточном Китае и Монголии. Собственно Амур рождается после слияния сибирской Шилки и маньчжурской Аргуня. Происхождение этих гидронимов довольно прозрачно: *Шилка* от эвенкийского *шилки* “долина, падь”, *Аргунь* из монгольского *ерген* “широкий”.

На значительном расстоянии Амур – пограничная река, разделяющая земли России и Китая.

Обычно длина Амура исчисляется от места слияния Шилки с Аргунью. Отсюда до Амурского лимана Охотского моря 2924 км. Если же к этой величине прибавить длину Аргуня, то длина Амура составит 4424 км. Для сравнения укажу, что Волга от Валдая до Каспия протянулась на 3530 км. Она крупнейшая в Европе, но много короче сибирских рек. По водности Амур уступает в нашей стране только Енисею, Лене, Оби.

Разные народы, населяющие земли бассейна Амура, называют его по-разному: у монголов он *Хара-Мурен*, то есть “черная река” (монгольские слова *хара* “черный” и *мөрөн* “река”). Китайцы не знают слова *Амур*. У них *Хэйшуй*, *Хэйхэ*, *Хэйлуцзян*, где *хэй* опять же “черный”, *шуй* “вода”, *цзян* “большая полноводная река”. Сравним *Хуанхэ* – “желтая река” и *Янцзыцзян* – самая большая река в Китае. Китайское *лун* “мифическое существо, хозяин вод, водная стихия”, а первоначально, видимо, просто “вода в природе – морская, озерная, речная”. Маньчжурам Амур известен как *Сахалянула* “черная река”. В “Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков” (1977. Т. 2) находим гнездовое слово *сакарин* “черный” при маньчжурском *сахал’ан* “черный, темный”.

Во всех упомянутых разноязычных названиях Амура присутствует определение *черный (-ая)*. Почему? На этот вопрос пока четкого отве-

та нет. Ведь амурская вода по цвету не отличается от других речных вод. Интересно, что в русской, шире – славянской, гидронимии *черных* рек множество, но среди них мы не знаем ни одной большой. А тут Амур – величественная, могучая река.

Можно, однако, вспомнить, что в некоторых восточных языках слово *черный* отвечает многим значениям. В тюркских, например, *кара* еще и “множество, обилие, главный, великий, земля”. *Карасу* “родниковые воды из земли”; *карахахан* “великий хан” (есть фамилия *Каракан*). Возможно, что в далеком прошлом слово *черный* отвечало нескольким значениям и во многих других языках. Но кажется более простым объяснить прилагательное *черный* в разноязыковых именах Амура его гидрологическим режимом. Во время весенних и, особенно, летних разливов Амур затопляет большие площади пойм и низких террас. Тогда наводнения бывают страшными для жителей долины, а Амур *черная* в смысле “злая” река.

О происхождении гидронима *Амур* писали и спорили не раз. Отметим работы Л. Ришеса “О происхождении названия Амур” (1951) и историка освоения Сибири и Дальнего Востока Б.П. Полевого “Амур слово московское” (1972) и “О подлинном происхождении названий Амур и Байкал” (1984).

Л. Ришес обратил внимание на разветвленную гидронимическую терминологию в тунгусо-маньчжурских языках: *бира* “небольшая река”, *амур* “полноводная, широкая”. Есть еще *окат* “река средней величины”. Последний термин отложился в имени дальневосточной реки *Охота*, хорошо известной в исторической географии. Именно по ней в течение многих десятилетий проходил важнейший путь из Якутского острога до берегов Тихого океана. Гидроним *Окат* и (в русском произношении) река *Охота* отразились в названиях рабочего поселка *Охотск* и *Охотского* моря. Так сравнительно небольшая река стала крестной матерью обширного морского бассейна. Л. Ришес связал гидроним *Амур* с эвенским *амар*. Напомню, что такая форма отмечена только в арманском диалекте. Между тем, казаки-землепроходцы отряда Ивана Москвитина услышали название в формах *Амур/Омур*.

Б.П. Полевой более подробно рассказал о названии реки *Амур* и постепенном его внедрении в мировую географическую номенклатуру. Русские путешественники узнали о существовании Амура в первой половине XVII века. Именовалась она по-разному: *Шилкер*, *Силькар*, *Силькир*, *Чиркол*, то есть *Шилка*.

В 1645 году томский казак Иван Москвитин из рассказов своих проводниц понял, что где-то протекает большая река, по которой можно доплыть до “моря-окияна”. Но тогда Москвитин так ее и не увидел. Только через год при обследовании берегов Охотского моря он обнаружил устье Амура. Охотское море тогда называлось *Ламским* – от

тунгусского *лам/ламу* “море”. Отсюда и устаревший этноним *ламут* “житель приморья”, ныне эвен.

Были споры о происхождении имени *Амур*. Одни считали, что в основе лежит монгольское *амар* “тихий, спокойный”. Но уже было сказано, что эту самую большую на Дальнем Востоке реку монголы называют *Хара-Мурен*. Другие видели здесь искаженное нанайское *Мангму*, эвенкийское *Мамур*. Однако напомним: эвенки-проводницы Москвитина говорили ему об *Амурел/Омуре*.

В 1643 году в Якутске была снаряжена большая экспедиция под руководством Василия Пояркова. Ему наказали “идти и государевым делом радеть и в тех местах острожки поставить и совсем укрепить”. Отряд Пояркова по Зее спустился к Амуру. Его Поярков посчитал притоком Зеи, которая показалась ему более полноводной. Название *Амур* Василий Поярков услышал только в нижнем его течении, после впадения справа Уссури. Плавание по Амуру завершилось зимовкой (1645–1646), когда казаки познакомились с географией и этнографией низовьев Амура. В июне отряд Пояркова вернулся в Якутск. Так закончилось большое плавание по Амуру.

Позже здесь обосновался Ерофей Хабаровов. В 1649–1652 годах он прошел большим маршрутом по Сибири и задержался в Приамурье. Его имя и фамилия остались в топонимах: город *Хабаровск*, *Хабаровский* край, железнодорожная станция *Ерофей Павлович*.

Вообще, известно много случаев, когда протяженная река меняет название в зависимости от разных языков народов, проживающих в ее бассейне. Такая особенность присуща гидронимии и других стран и областей. Ключом же для обоснования принятой современной формы названия *Амур* следует считать солонское нарицательное слово *амур*, эвенкую форму *амар* (Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. 1975. Т. 1). Такое утверждение не противоречит положению, когда в разных местах – разные названия.

Заметим, что не все народы, населяющие нижнее течение Амура, относятся к тунгусо-маньчжурам. Так, нивхи (гиляки) говорят на языке, имеющем некоторые общие черты с палеоазиатскими и даже с языками индейцев Северной Америки.

Мир должен быть благодарен выдающемуся ученому и внимательному путешественнику Николаю (Милеску) Спафарию (1636–1708): он сочинил знаменитое “Описание (Сказку) о великой реке Амур”, которое было положено в основу опубликованного известным голландским географом и картографом Николаем Витсенем в 1692 году первого печатного описания реки Амур. “Именно благодаря этому московское слово *Амур* и стало известным всему миру” (Полевой. Указ. соч.).

Гидроним *Амур* – подарок тунгусских народов русской, а затем и мировой географии.



### Мал золотник, да дорог

Л.Б. САВЕНКОВА,  
кандидат филологических наук

В философии “количество есть такая обусловленность вещи, благодаря которой (реально или мысленно) её можно разделить на однородные части и собрать эти части воедино” (Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. М., 1963. С. 193). В математике мы имеем дело с абстрактной идеей количества – числом. В обиходной же речи всегда говорится о количестве чего-либо или кого-либо. Человеческое сознание связывает мысль о количестве со счётом или мерой, то есть с количеством какого-нибудь качества.

Количество бывает определённым (*два, тридцать три* и т.д.), неопределённым (*много, мало, длинный, долгий*) и приблизительным (*около двадцати человек, десятка полтора яиц, минут пять* – подробно об этом см.: Маджидов С.Р. Приблизительное количество как языковая категория и способы его выражения в современном русском языке / Автореф. канд. дисс. Ростов-на-Дону, 1995). На языковом уровне отдельное слово может обозначать определённое (*два, сто пятьдесят*) и неопределённое (*несколько, мало, много*) количество, при участии фразеологизмов чаще всего образуется неопределённое количество (*вагон и маленькая тележка* – “очень много”, *с три короба* – “очень много”, *с гулькин нос* – “чрезвычайно мало” и т.п.). Приблизительное количество обозначается исключительно на речевом уровне, синтаксически, то есть при помощи переменных сочетаний слов (*порядка двадцати, около десятка, примерно тридцать* и т.д.).

Слова, обозначающие количество, не нагружены эмоционально, не оценочны. Они сообщают точную информацию и ничего более.

Другое дело фразеологизмы. Они не считают точно, а сообщают приблизительные сведения о количестве считаемых предметов того или иного качества. При этом экспрессивная оценочность налицо. В *большом горшке на доньшке* – это не просто “мало, недостаточно”, а

“слишком мало” (и это плохо, с позиции говорящего); *как сельдей в бочке* – не просто “много”, а “чересчур много” (и это плохо, с позиции говорящего).

Кроме отдельных слов и фразеологизмов, содержащих идею количества, заслуживают внимания изречения, характеризующие и оценивающие не только предметы или явления, но и конкретные ситуации. Это – пословицы. Но умеют ли пословицы “считать и измерять”?

Первое, что бросается в глаза, – многие пословицы включают в свой состав слова, непосредственно связанные с идеей количества (ср.: *Один в поле не воин; Ум хорошо, а два лучше; Семеро одного не ждут*). Однако в пословичном фонде есть и такие изречения, где о количестве сообщают слова, которые вне пословиц с представлением о счёте или мере никак не связаны (ср.: *Как ни дуйся лягушка, а до вола далеко; На мышку и кошка зверь* и т.п.).

Эти пословицы как бы стоят на двух полюсах. А между ними простирается целое поле изречений, в которых заключена мысль об оцениваемом количестве считаемых предметов или об измеряемом качестве. Соответственно в первом случае внимание сосредоточивается на том, что чего-то много или мало, а во втором – что много (или мало) – это хорошо (или плохо).

Интересно наблюдать за поведением слов со значением количества в составе пословиц, проверить, влияет ли пословица на развитие лексической семантики.

Идея количества в человеческом сознании выступает в виде представлений о временной и пространственной протяжённости, размере, объёме, весе сопоставляемых сущностей, а также о единичности или множественности считаемых предметов. Стремление к выражению абстрактного через конкретное отражено в русских пословицах самым убедительным образом. Изречения, в которых количество представлено отстранённо от предметной сферы, исключительно редки. Это такие пословицы, как: *Из многих малых выходит одно большое; Из малого выходит великое; Для доброго довольно, а для худого и того жаль; С доброго будет, а завистливому шиш; Из большого не мудрено убавить, а из малого? Чаше важно количество предметов или какого-либо качества, например: *Денег-то тьма, да не во что класть; Мал золотник, да дорог; Велика Федора, да дура; Не два месяца светят, не два солнышка греют* и т.д.*

На лексическом уровне выражению идеи количества способствует включение в пословицу количественных наименований разной степени определённости (ср.: *Двое, трое не как один; Много – хорошо, а больше – лучше того; Горько, горько, а ещё бы столько; Не было ни гроша, да вдруг алтын*). Заметим, что сами абстрактные наименования количества (типа *количество, число, цифра*) в пословицах не встречаются.

Все пословицы, для которых идея количества является главной, видимо, целесообразно разделить на две группы: пословицы, в которых отмечается наличие некоторого количества (*Для двоих готово, а троих не накормишь; Вырос наш жук с медведя* и т.п.), и пословицы, сообщающие об отсутствии какого-либо количества (*Ничего-то у нас и дома много; Хватит-похватит, ан мягких пять; С одного конца нет, и с другого нет, а в середке и не бывало; В одном кармане вошь на аркане, в другом – блоха на цепи* и т.п.). Рамки журнальной статьи не позволяют подробно рассмотреть весь собранный материал, поэтому ограничимся первой группой – изречениями, свидетельствующими о наличии какого-либо количества.

Понятия *много, большой, длинный, долгий* и т.п. не существуют сами по себе. Они приобретают смысл только в сопоставлении с понятиями *мало, маленький, короткий, краткий* и т.п. Их относительность отражают пословицы: *Много и того, как два на одного, а мало того, как два на троих; На мышку и кошка зверь; Худая вязанка лучше доброй горсти; Не велика пригоршня, да много в ней щепотей; Кобылка маленька, а седлу место есть; Две ярочки та же овца*. Характер количества предстаёт здесь в виде противопоставления единичности неопределённому (или реже – определённому) множеству или двух неопределённых разномерных множеств. То есть налицо оппозиции *один–несколько* и *мало–много*.

Оппозиция *один–несколько* может быть использована для противопоставления индивида группе людей, одного предмета ряду предметов или однократного действия (состояния) многократному. Наиболее часто противопоставление одного человека группе людей. Делается это с целью оценки личности, её положения или значимости в обществе. Большинство изречений может быть сведено к оценочному суждению “быть, находиться где-либо или делать что-либо вместе с другими лучше, чем одному” (ср. *Один в поле не воин; Один и дома горюет, а два и в поле воюют; Одному и топиться скучно; Двое одному рать; Ум хорошо, а два лучше; Семеро одного не ждут*).

Гораздо скромнее список пословиц, подчёркивающих преимущества человека, не обременённого связью с другими людьми или зависимостью от них: *Одна голова не бедна, а и бедна, так одна; Одна голова и смеётся, и плачет, всё одна (Один скачет, один и плачет, а всё один)*.

Иногда один человек резко противопоставляется нескольким, и тогда пословицы меняют оценки: “один подчинён множеству” (ср. *Один с сошкой, а семеро с ложкой*), “наличие множества не облегчает жизни одному” (*У кобылки семеро жеребят, а хомут свой*), “множество подчинено одному” (*Мастер один, а подносчиков десять*) и т.п.

В предпочтении коллектива личности пословицы тоже опираются на количественную основу: несколько человек имеют больше сил (спо-

собностей, возможностей), чем один; одному гораздо сложнее справиться с каким-либо делом, чем группе людей, поэтому один человек ценится высоко лишь тогда, когда он способен заменить собою нескольких: *Тот и господин, кто всё может сделать один*. Как видим, эта группа пословиц отмечает, что количество тесно связано с качеством.

В тех случаях, когда в составе пословицы слово *один* связано с неодушевлённым предметом или действием, экспрессивная оценка в изречении отсутствует или явно не проявляется. Когда, например, говорят: *“Семь бед – один ответ”*, то этим хотят сказать, что нет прямой зависимости размера наказания от количества проступков или нарушений. Поскольку человек, однажды преступивший закон или нарушивший норму поведения, неминуемо будет наказан, он может не придавать особого значения числу последующих отступлений от правил. И пословица не обращает внимания, хорошо это или плохо. Важно только, что наказание за проступки наступает обязательно.

В других изречениях этой группы оценка может сопровождать сообщаемую мысль, но она нестабильна. Она может быть противоположной в зависимости от позиции говорящего. *С одного мешка не два помолы* – говорится о необходимости реального соотношения запросов и возможностей. Если эта фраза исходит от того, кто отдаёт что-либо, она подчёркивает, что нельзя требовать большего, чем даётся. Пословица здесь отражает чувство досады, раздражения чрезмерными требованиями берущего. Если же изречение произносится тем, кто хочет что-то получить, в нём будет слышаться сожаление о том, что нельзя взять побольше. Подобную противоречивость эмоциональных оценок при сохранении единства значения наблюдаем и в пословице: *Одному началу не два конца*.

Когда же слова *однажды, однава* и т.п., связанные с идеей единичности, сообщают о пространственно-временных измерениях, пословицы подчёркивают особенность, исключительность единичности (ср.: *Лучше семью гореть, чем однава овдоветь; Десятью (семь раз) приречь (отмерь), однава (один раз) отречь; За один раз дерева не срубить*).

Напомним, что обычно, за рамками устойчивых фраз, слова *один, два, семь, десять* и т.п. обозначают определённое множество. В большинстве приведённых пословиц они образуют оппозицию *один–несколько*, противопоставляя единичность неопределённому множеству. Подтверждением этому, видимо, может служить наличие вариантов пословиц, включающих разные количественные наименования: *По двожди (троицею, трою, четырью, четверою, четверицею, пятью, пятерью, пятицею, пятерицею и пр.) и Бог за одну вину не карает* (ср. также *семь раз – десятью* в приведённой выше пословице).

Однако нельзя заявить категорично, что любое количественное наименование, которое в пословице обозначает множество, противопоставленное единице, связано с идеей абсолютной неопределённости количества. Во всяком случае пословицы *Два не один* и *Ум хорошо, а два лучше того*, на наш взгляд, реально связаны с идеей превосходства минимального множества, представленного двумя предметами, над единицей. А в пословице *Семь сёл, один вол, а десять урядников* явно ощущается сопоставимость количеств, обозначенных словами *семь* и *десять*, хотя и ясно, что в рамках изречения они теряют свою реальную соотнесённость с числами 7 и 10.

Вторая оппозиция – *мало – много* – чаще всего сосредоточивает внимание на двух таких общих суждениях, как “количество взаимосвязано с качеством” и “представление о мере количества относительно”. Эти общие суждения реализуются в группах более конкретных, а именно:

группа “количество взаимосвязано с качеством” объединяет изречения, в которых ценностные характеристики предмета речи ставятся в зависимость от его количественных характеристик. Пословицы этой группы можно условно свести к шести следующим суждениям.

Первую подгруппу составляют пословицы, в которых заключена мысль о том, что *малое значимо*. Причём малым может быть как собственное количество, так и размер, объём, пространственная или временная протяжённость и т.д.: *И одна корова, да жрать здорова; И муха укусит, так вспухнет; Мал клоп да вонюч; Не велик сверчок да поганит горшок; Невеличка блошка, а спать не даёт; Невеличка синичка, да та же птичка; Мал соловей, да голос велик; Невеличка птичка, да ноготок остёр; Иголка маленька, да больно уколет; Мал горшок, да мясо варит; Мелка река, да круты берега; С мелкой рыбы уха сладка; Не велик узелок, да крепко затянут; Аминь письмом невелик, да дело вершит*. В этих изречениях противопоставленность малого количества большому чаще всего не находит прямого выражения.

Изречения второй подгруппы сообщают, что *малое значимее большого*. В этом случае пословицы либо предостерегают от недооценки опасности, которую может таить внешне безобидное и будто бы незначимое начало (ср.: *И комары лошадей заедают; Мошка – крошка, а человеческую кровь пьёт; Кадка (Бочка) мёду, ложка дёгтю всё испортит; Коза на горе выше коровы в поле*), либо подчёркивают ценность малого количества, обладающего положительным качеством: *Благословенный баран лучше неблагословенного быка; И один глаз, да зорек, не надобно сорок; И маленькая рыбка лучше большого таракана; Мал сокол, да на руке носить; Велик верблюд, да воду возить, Велик нень, да дупляст, а мал дуб, да здоров; И велика, да метлика, и мала, да трава (то есть съедобная для животных трава); Велико, да болото, мала, да нивка; Мал, да конопляник, велика, да моховина*. Наиболее

общо значение пословиц этого ряда выражено изречением *Живёт и меньшее лучше большого*.

Следующие две подгруппы могут быть названы таковыми лишь формально, поскольку каждая в собранном материале представлена одной пословицей.

Пословица *Не много синичка из моря унёс* противопоставлена изречениям первой подгруппы и может быть сведена к суждению “малое незначимо”. Очевидно, такая скудость материала вызвана тем, что мысль о неценности малого количества отчётливо реализуется в пословицах с открытым обозначением минимального количества (*один*); ср.: *Одним гусем поля не вытопчешь; Один в поле не воин* и т.п.

Также одна пословица может быть отнесена к суждению “большое значимо”: *Из большого не выпадет*.

Изречения следующей подгруппы открыто предпочитают большое малому. Они считают, что “большое ценнее малого”: *Велик сапог – на ноге живёт, мал сапог – под лавкой лежит; Остаток лучше недостаток; Из большого немудрено убавить, а из малого?; Из большого выкроишь, а из малого зубами не натянешь*.

Последняя подгруппа пословиц отрицает самоценность большого количества, то есть содержит суждение “большое незначимо”: *Велик телом, да мал делом; Высок репей, да чёрт ему рад; Велико прясло, да об огород им хрястать; Голова, как у вола, а всё, вишь, мала (то есть глуп); Много лесу тёмного, да нет дерева годного; И большой таракан не мерину чета; Из большого осла всё не выйдет слона; Как ни дуйся лягушка, а до вола далеко; Велик коровий язык, да лизуном прозвали*.

Второе общее суждение, объединяющее пословицы с оппозицией *мало–много*, – “представление о мере количества относительно”. В эту группу входят изречения, говорящие как о неопределённости, относительности самих понятий о большом и малом, так и пословицы, подчёркивающие непостоянство, изменчивость количественной характеристики. Они могут быть разделены на три подгруппы.

Первые сообщают, что “мера количества относительна”: *На тяжёлый воз и рукавицы положишь, так потянут; Курице по холку, свинье по хвост; Кобылке брод, курице топ; Много и того, как два на одного; а мало того, как двое на троих*. В этих пословицах представление об относительности достигается простым сопоставлением соизмеряемых предметов (*курица – свинья; кобылка – курица*) или двойным числовым сопоставлением (*два–один, двое–трое*).

Пословицы второй подгруппы подчёркивают, что “из малого складывается большое”: *Без копейки и рубль не живёт; С миру по нитке – голому рубаха; По капельке море, по зёрнышку ворох (по былинке стог); По капле дождь, по росинке роса; Полено к полю – костёр; По воло-*

ску всю бороду выщиплешь; От искры пожар разгорается; От копечечной свечки Москва сгорела. Эти пословицы совмещают представление об относительности количества с мыслью о ценности малого, без которого невозможно получить то, что называется большим.

Наконец, последняя подгруппа указывает, что “большое может стать малым”: *И велика была мошна, да вся изошла.*

Нелишне отметить, что при сопоставлении неопределённых разномерных множеств в пословицах, кроме лексических компонентов *большой–маленький, много–мало, длинный–короткий* и т.п. используются и слова, вне пословиц обозначающие определённое количество, а в пословице эту определённость теряющие; ср.: *Служил семь лет (пять лет, три лета), а выслужил семь реп (пять реп, три репы); Двое пацуют, а семеро руками машут; Семеро в семействе, да в нём осьмеро больших (большаков).*

Видимо, даже числительное *один* в таких пословицах теряет свою определённость, сохраняя идею просто малого количества (ср.: *Один рубит. семеро в кулаки трубят; Семеро капралов над одним рядовым; Рубить семерым, а топор один; Семеро на зайца, один молотить* и т.п.).

В целом семантика русских пословиц, выражающих идею количества, отражает взаимосвязь категорий количества и качества. Причём количество выступает как категория, подчинённая качеству, и оценка количества обуславливается оценкой качества. Ряд пословиц упоминает об относительности представлений о количестве.

Чаще всего в пословицах реализуется противопоставление единичности неопределённому множеству или двух разномерных множеств. Рассмотрение семантики некоторых “количественных” слов наводит на мысль о возникновении у них семантического сдвига в сторону выражения неопределённого множества вместо определённого. Как показывает материал, мысль о приблизительном количестве в пословицах не отражается.

Понятно, что многие вопросы, связанные с проявлением категории количества в русских пословицах, остались за рамками статьи. Однако уже затронутые проблемы, смеем надеяться, представят интерес и для исследователей-профессионалов, и для всех ревнителей русского языка и этнической культуры.

*Ростов-на-Дону*



## МАСЛЕНИЦА

А.В. ЗЕЛЕНИН,

кандидат филологических наук

Масленица в России начинается после *вселенской субботы*, в которую поминают усопших родственников, длится неделю, и её празднуют накануне Великого поста. В славянской мифологии персонаж масленица воплощал и плодородие, и зиму, и смерть. У славян-язычников масленица связывалась со встречей весны и началом полевых работ – пахотой и севом, поэтому её отмечали в дни весеннего равноденствия (20–23 марта). Но в церковном календаре начало сорокадневного Великого поста всегда связано с празднованием Пасхи. Она отмечается из года в год в разные дни (так называемый “подвижный праздник”). Сочетание церковного и народного календарей происходило по пути совмещения многих праздников и ритуалов. Совмещение масленицы и времени перед Великим постом привело к тому, что масленица также стала “подвижным праздником”.

В этнографической литературе празднование масленицы описано столь подробно, что нам нет смысла повторять, напомним только главные моменты масленичной поры.

Празднование масленицы имеет некоторые параллели с европейским карнавалом, а корни масленицы и карнавала восходят к архаическим представлениям. Здесь переплелись аграрный, сельскохозяйственный культ (ожидание будущего урожая), и культ предков (блины считались ритуальным блюдом, употреблявшимся на поминках, а катание на лошадях восходит к состязаниям всадников, бойцов на могиле умершего), и культ рода и семьи (поездка в гости к родственникам, часто очень далеким, в масленичную пору). Конечно, многие ритуальные действия масленицы и карнавала уже утратили свой исходный смысл и существовали сами по себе, вне связи с породившими их причинами.

Работы на масленицу прекращались. В это время готовилось большое количество еды, люди ходили друг к другу в гости, наблюдали развлечения молодежи или сами устраивали эти развлечения и проказы.

Обязательным было печение блинов (круглая форма блина напоминает Солнце как символ весны). На масленицу устраивали кулачные бои. Эта традиция восходит к состязаниям на могиле умершего. Отголоски этой языческой традиции встречаются как в древнейших текстах (выражение “дратися по мертвецы” значило “устраивать состязания у могилы умершего”), так и в XIX веке. В “Военном сборнике” (1858. № 2) можно было прочесть, что в кулачных боях участвовали “не только все молодые чиновники, но даже многие генералы”.

Кроме кулачных боёв, устраивали катание на лошадях. Этот обычай также восходит к поминальному обряду. В язычестве конь считался священным животным, охранявшим и оберегавшим от злых духов. Поэтому скачки считались обязательным ритуалом у могилы умершего. В XIX веке в народном языке одно из значений слова *катанье* было “празднество, гулянье, езда для забавы”. Катание на лошадях часто превращалось в конные состязания, в которых участники мерились ловкостью и силой; зрители оценивали конную упряжь и украшения саней.

На масленицу же устраивали катание с гор. Этот обряд обычно связывают с земледельческой магией, особенно с ростом густых и высоких льна и конопли. Катались либо на санках (обычно девушки, женщины, причем каждая девушка должна была иметь свои санки, часто украшенные орнаментом, резьбой), либо на ногах по шестам, положенным параллельно на косогоре, облитом водой (это обычно делали мужчины, взявшись за руки).

В проводах зимы и встрече весны, как правило, участвовала кукла из соломы, которую “встречали” в понедельник, первый день масленицы, у ворот при въезде в деревню с радостными песнями. Кукла была наряжена в женскую (обычно) одежду и держала в руках намащенный блин или сковороду. Первый день масленицы поэтому называли *встречей*. Вот как это происходило в XIX веке. “Едет масленица. В небольшой кошеве, запряженной в одну лошадь, сидят человек десять мужчин, которые держат высокий шест с развевающимися флагами, от верхушки шеста тянутся к углам кошевы веревки, вот почему шест походит на мачту, а сама кошева называется кораблем. В середине кошевы сидит нарядный человек на колесе. Он и сидящие в кошеве поют песни” (Решетников Ф.М. Глумовы).

Другие дни масленицы также получили собственные наименования. Вторник назывался *заигрышами* (*заигрышем*), когда устраивали коллективные игры, особенно молодежь. Среда называлась *лакомкой* (*лакомством*): ходили друг к другу в гости угощаться приготовленными яствами. Четверг знаменовал собой вершину масляной недели, масленичных увеселений, поэтому его называли *перелом* или *разгул*. С четверга масленица именовалась *широкой*, *разгульной*. В пятницу семей-

ные пары ездили к матери жены – теще – на блины выразить свое почтение или для примирения, поэтому пятницу называли *тещины вечерки*. В субботу в домах замужних женщин собирались незамужние девушки и неженатые парни для бесед, разговоров, игр, знакомств. Субботу называли *золовкины посиделки*. И, наконец, наступало воскресенье – последний день масленицы. В этот день торжественно сжигали соломенное чучело, что знаменовало окончание зимы. При этом пели ритуальные песни:

А мы свою масляну провожали,  
Гяжко, важко по ней вздыхали.  
А масляна, масляна воротится,  
До самого Велика дня протянется!

В воскресенье просили друг у друга прощение и в знак прощения целовались. Воскресенье называли *проводы, прощанье, прощенное воскресенье, целовальник*.

После разгульной поры наступал Великий пост, первый день которого был *чистый понедельник*: в этот день мужчины “очищались” (или “полоскали зубы”: в избылиии пили водку, якобы выполаскивая остатки скоромной пищи), а женщины пропаривали посуду, в которой хранили молочные продукты.

Разумеется, это только очень схематичный набросок масленичной поры. Но нас интересует не сам обряд масленицы, а происхождение слова: у русских – *масленица (масляная)*, у украинцев – *масниця (масляна, масляниця)*, у белорусов – *масленца (масьлінка, масліна, масляна)*, у поляков – *zarust (zarusty), ostatki* (“три последних дня масленицы”), *karnawal*, у чехов – *masopust, masopustni nedele, karneval*, у болгар (в некоторых местах) – *масленица*.

В этнографической литературе существует мнение, что название *масленица* связано с маслеными блинами, которые давали в руки наряженному чучелу, кукле (Мифы народов мира. Т. 2). Другие названия масленицы – *обманищца* (очевидно, связано с тем, что после разгульной жизни в масленичную пору наступал суровый пост), *объедала* (можно есть вволю), *блиноела* (от слов *блин* и *есть*, т.е. обилие блинов на масленицу) и другие.

Вообще празднование масленицы широко отмечалось у русских и белорусов, у украинцев масленица не была таким повсеместно распространенным праздником. Чехи и поляки (католики) очень скоро перешли к празднованию карнавала (польск. *karnawal*, чеш. *karneval*).

Попытаемся восстановить историю слова *масленица* в русском языке.

В древнейших текстах можно найти следующие обозначения масленицы: *мясопуст* (Супрасльская летопись. X век), *сырная неделя* (Устав Студийский церковный и монастырский после 1193 года), *сыропуст-*

*ная неделя* (Остромирово евангелие. 1057 год), *масленая неделя* (Повесть временных лет. Запись под 1082 г.). Все они значат одно и то же – “неделя накануне Великого поста”.

Из этих словосочетаний *масленая неделя* является народным восточнославянским обозначением с той оговоркой, что здесь употреблено слово *неделя* в старославянском значении “7 дней, седмица” (неделя у восточных славян значила “воскресенье”). Словосочетание *сыропустная неделя*, известное только в церковной восточнославянской письменности, следует, по-видимому, отнести к церковнославянизмам, появившимся уже на восточнославянской языковой почве. По-видимому, смыслового различия между приведенными обозначениями масленичной поры (недели накануне Великого поста) в древнерусском языке не было.

Слово *мясопуст* следует отнести к калькам (с латин. *carnisprivium*), возникшим в южно- или западнославянских землях. Выражения же *сыропуст* или *сыропустная неделя* в древнерусском языке зафиксированы впервые в Остромировом евангелии. *Сыропустный* – полукалька с греческого *tirophagos* (*tiros* – сыр, *phagos* – поедатель, едящий), слово было создано по модели уже существовавшего слова *мясопуст* (Подробнее см.: Русская речь. 1998. № 1, 2).

Смысл один и тот же у выражений *мясопуст* (преимущественно у южных славян), *сыропустная неделя*, *масленая неделя* (восточнославянское обозначение: одно народное, другое – церковнославянское, или вернее – “церковнорусское”). Однако мотивирующий признак, положенный в основу наименования, разный: неделя накануне Великого поста связывалась с представлением о запрещении употреблять мясо (*мясопуст*), о разрешении в пищу сыра “творога” (*сыропуст*) или масла (*масленая неделя*). Разумеется, можно видеть за этими вещами только языковую условность (калькирование греческих слов), но можно также предполагать, что эти наименования в какой-то степени отражают и реальную картину хозяйственного уклада славян, и реальную роль этих продуктов сначала в языческих, а затем и православных обрядах (в данном случае – перед Великим постом).

Выражение *масленая неделя* – традиционное народное обозначение начала весны, совпавшего в церковном календаре с неделей накануне Великого поста. Как видно из внутренней формы слова, прилагательное *масленный* образовано от слова *масло*. В народном же языке были и другие метафорические названия масленицы: это уже упоминавшиеся *блиногла* и *объедала*. Закрепилось же именно слово *масло* в качестве мотивирующего символа всего праздника масленицы. Случайно ли это? Нет, потому что в народном сознании масло прочно связывалось с представлением об обеспеченной, сытой жизни, достатке: *У богато-го и по бороде масло течет. Хоть лей на него масло, он все говорит: дёготь, Кашу маслом не испортишь* и многие другие.

Итак, в обозначении недели накануне Великого поста участвовали (в качестве мотивирующих) несколько слов: *мясо*, *сыр* (творог) и *масло*. Слово *сыр* имело разные ассоциации в церковном и народном языке, само же понятие “неделя накануне Великого поста” в народном сознании больше соотносилось со словом *масло* (*масленый*).

Однако нагрузка данных символов в культуре неравнозначна. Отвлеченно-абстрактные церковные ассоциации, вызываемые словом *сыр* (творог), остаются в пределах церковных текстов и не встречают поддержки в развитии данного символа при помощи метафор. Народно-фольклорные ассоциации, связанные с этим словом, также не являлись общезыковыми или общенародными эпитетами, поэтому они и не закрепились в языке. Ослабление метафорических связей слова было обусловлено также и появлением конкурента – слова *творог*, первые записи которого относятся к началу XVII века (записи английского путешественника Ричарда Джемса по Северной Руси, сделанные им в 1618–1619 годах).

Подтачивание церковных ассоциаций у слова *сыр* началось еще раньше; например, в XVI веке была попытка заменить словосочетание *сырная неделя* фразой народного языка *молочная неделя*: “Месяца марта 2 день, на молочной неделе в субботу” (Новгородская, 2 летопись, запись под 1549 годом). Примерно к этому же времени относится и появление слова *масленица* в значении “неделя накануне Великого поста”: “Отпустили с Москвы литовского гонца в понедельник на масленице” (Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством, 1543 год). Характерно, что однословное название *масленица* (вместо *масленая неделя*) впервые фиксируется в текстах, содержащих немало полонизмов или западнорусских слов.

Возможно, что и слово *масленица* – западнорусское или распространенное преимущественно к западу или северо-западу от Москвы. Устная форма бытования его дает обилие даже однословных вариантов во всех восточнославянских языках: в русских говорах – *масленица*, *масленка*, *масленская*, *масленца*, *масляня(я)*, *маслена*; в белорусских – *масленца*, *масленка*, *масьлінка*, *масліна*, *масляня*; в украинских – *масляниця*, *масляня*, *масниця*, *масничка* (последние два слова образованы от *масний* “масляный”).

В XVII веке впервые отмечается и прилагательное *масленая*: “Пришел... в среду на масленой” (Материалы для истории медицины в России. 1656 год).

Видимо, именование куклы, чучела *масленицей* – позднейшее или в какой-то мере табуизированное. Названия масленичных чучел разнятся в славянских языках.

Чехи и словаки предпочитают называть чучело *марженой*, или *мо-*

реной (это название восходит к имени древнеславянской богини смерти Маре, или Марене), в то время как сама праздничная пора у них – *masopust* или *karneval*. Болгары называют ряженных на масленичной неделе *кукерами* (единств. *кукер*, по наличию горба у ряженого), а сам период празднования – *масленица*. Поляки называют ряженого *zapustnik* (от слова *zapust* – исконное название масленицы). В украинских диалектах, по-видимому, нет повсеместно распространенного названия чучела (в связи с малой ролью масленичного празднования). Характерно, что во всех этих языках нет общего названия масленичного чучела. В русских диалектах название *масленица* для обозначения чучела хотя и широко распространено, но не повсеместно; в некоторых краях (Енисей) это вообще чучело в мужской одежде – *масленка*; кроме того, там, где не делали такого чучела, просто разжигали костры на возвышенном месте поблизости от деревни или у реки (Славянская мифология. М., 1995). Очевидно, существовали местные, локальные названия этого чучела, но они не сохранились, а закрепление за чучелом слова *масленица* произошло довольно поздно.

Народное название *масленая неделя*, употребляясь преимущественно в устной речи (в книжной речи эквивалентом было выражение *сыропустная неделя*, *сырная неделя*), с XVI–XVII веков получает “подкрепление” в виде однословных обозначений: *масленица* и *масленая*, которые всё шире входят в обиход.

Вокруг слова *масленица* (*масленая*) формировались представления о разгульном, беспечном времяпрепровождении. Уже в XVII веке в ходу была поговорка *сбылась коту своя масленица* (т.е. наконец наступила долгожданная пора). Но длится она недолго, и появляется поговорка *не всё коту масленица, бывает и Великий пост*.

Во время масленицы не справляли свадеб, откладывали их до весны или осени.

В ней замужеством кровь кипела,  
Но тут маслена приспела,  
Должно свадьбу отложить.

“Трутень”

На тесную связь масла и масленицы указывает и Радищев: “Масла копят [крестьяне] только на разговенье и на масленицу” (Описание моего владения).

Именно слову *масленица*, а не книжно-церковному словосочетанию *сырная неделя* писатели находили яркие эпитеты: “[Масленица], говоря газетным языком, шумный, блистательный, богатый жирными блинами и роскошными увеселениями сырной недели [праздник]” (Дружнин А.В. Письма инородного подписчика). Показательно, что здесь употреблено церковное название *сырная неделя* и народное – *маслени-*

ца, но первое (церковно-книжное) выражение – только форма, знак для народного.

И.А. Гончаров, проделавший кругосветное путешествие, с полным правом мог воскликнуть: где бы ни находился русский человек, это слово всегда находит в его душе живой отклик: “Нельзя же, однако, чтобы масленица не вызвала у русского человека хоть одной улыбки, будь это среди знойной зыби Атлантического океана” (Фрегат “Паллада”).

Сейчас мы уже уверенно можем ориентироваться в сосуществовавших когда-то названиях *мясопуст*, *сыропустная неделя*, *сырная неделя*, *масленая неделя* (или – позднее – *масленица*, *масленая*). Когда-то, в очень глубокой древности, все они имели одно значение – “неделя накануне Великого поста”. Но постепенно они разошлись в значениях и в сферах употребления. Это было связано со взаимодействием народного и церковно-книжного языков и символов. В церковной традиции *мясопуст* (русский эквивалент – *заговенье*) – это последнее воскресенье перед масленицей; *сыропустная неделя* – “первая неделя Великого поста”, потому что *сыропуст* стал значить “запрещение есть молочные продукты”; *сырная неделя* – то же, что и *масленая неделя*, но употребляется в церковно-книжном языке (т.е. стилистически ограниченно); название *масленая неделя*, усиливая свой семантический потенциал, становится в языке ведущим обозначением недели накануне Великого поста. Но словосочетание *сыропустная неделя* оказывалось как бы в тени термина *Великий пост*, связанного с постной пищей, т.е. более сильными ассоциациями и запретами, поэтому употребление выражения *сыропустная неделя* имело тенденцию к затуханию. Действительно, уже в XVIII веке в словарях церковнославянизм *сыропуст* часто толкуется словом (молочное) *заговенье*. Существование слова *сыропуст* и выражения *сыропустная неделя* оказывалось избыточным, поддерживаемым только церковно-религиозными текстами. В живом языке они не имели хождения, поэтому и отошли в пассивный словарный запас, на языковую периферию. Словарь В.И. Даля еще дает их, Словарь Ушакова – также, но уже МАС исключает их из своего состава.

Такова история данной группы терминов, в которой сплелись церковная и народная традиции. Слово *масленица* – яркий пример смыслового развития народных обозначений праздников в системе календарных понятий и представлений, формирующих ткань жизни многих поколений людей.

Санкт-Петербург



## ТРУБА НЕТОЛЧЁНАЯ

А.А. ШУНЕЙКО,

кандидат филологических наук

Вероятно, кто-то из читателей сталкивался с выражением *труба нетолчёная* “чересчур много, переизбыток кого-либо” в разговорной речи. Мне в этом смысле повезло меньше. Не один раз приходилось встречаться с фразеологизмом в текстах, но на слух, в непринуждённом общении, этот диковинный оборот не попадался. Перед нами не просто дело случая, а одно из проявлений наполненной загадками истории *нетолчёной трубы*. Вот некоторые из них.

По поводу только что сказанного возможно возражение: что же тут удивительного – русский язык, как и многие другие, знает книжные фразеологизмы, почти не проникающие в разговорную речь и устаревшие формы устойчивых сочетаний. Но в том-то и дело, что характеристики оборота позволяют отнести его к разговорным. Вот закономерно не лишённые разнобоя (о его причинах – позже) мнения по этому поводу авторитетных словарников: **“Нетолчёная труба кого (прост.) – о большом скоплении народа”** (Словарь русского языка в 4-х томах. М., 1984. Т. IV); **“... (устар. разг.) – о тесноте, большом скоплении народа”** (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992); **“Нетолчёная [непротолчёная] труба кого. Устар. Очень много, необыкновенно много, в большом количестве”** (далее представительная череда цитат из Панаевой, Салтыкова-Щедрина, Д. Аверкиева и Боборыкина. – А.Ш. – Фразеологический словарь русского языка. М., 1986).

Свидетельства словарей (и не только они) порождают второй вопрос: в чем причина такой поразительно быстрой забывчивости языкового коллектива, филологически ориентированные представители ко-

того отмечают оборот в XIX и XX веках, но о нем практически никто не вспоминает в конце нашего века (много раз приходилось слышать *нет* на вопрос: *слышал/и, знаешь/те ли?*).

И третье (внешне едва ли ни самое интересное): что это за странная *труба* и кто, где, как, чем, почему, зачем... её толкли? Откуда у слов взялось значение “слишком много, переизбыток”, немотивированное для современника?

Не имея исчерпывающих ответов на эти вопросы, поделюсь некоторыми соображениями. Начнем с примеров, говорящих, что к окончательно устаревшим оборот относить нельзя. Хотя сама категория *устаревшее/неустаревшее* зыбка и не имеет четких временных рамок (иное “новое” слово забывается на следующий день после своего появления). Можно предположить, что для фразеологизма, популярность и широта использования которого иллюстрируется массой примеров XIX века, “время устаревания” должно быть продолжительным, а выход из активного употребления постепенным. Никаких внешних, способствующих мгновенному исчезновению (скажем, идеологический запрет) причин на такой оборот повлиять не могло. Более того, представим примеры его использования в первой половине XX века помимо словарей.

Первый из них относится к самому началу века и принадлежит известному знатоку разговорной речи Вл. Гиляровскому: “И почти всегда так бывало: когда не придешь, постоянно народу у Чеховых, труба не толчёная. Он уже начал входить в моду” (Москва и москвичи). Здесь и далее не будем подгонять орфографические несовпадения (слитное/раздельное написание с *не* и одна/две *н*) под общий ранжир. Они – проявление исторических колебаний и опять же того, что главной средой обитания оборота была разговорная речь. Кстати, Орфографический словарь русского языка (М., 1994) на этот счет молчит, правда, там есть *неторёный* – ориентир, позволяющий принять за норму вариант, вынесенный в заглавие.

В письме к Юрию Тынянову В.Б. Шкловский (лето 1937 г.) среди прочего пишет: “Был у меня Андроников. Вообще народу – непротолчённая труба. Надо отдыхать, но это не очень выходит” (Панченко О. Виктор Шкловский: Текст – миф – реальность). Дружеское письмо – жанр разговорный, можно сказать, записанный непринужденный монолог. И Шкловский в таком разговоре упоминает оборот без всякого комментария. В единичном примере это можно объяснить осведомленностью адресата. Но ряд показывает: отсутствие пояснений – характеристика известности, понятности, активного использования оборота в 1937 году.

А вот еще одна фиксация, которая приблизительно на десять лет отстоит от предыдущей. Воспроизводится разговор, происходивший в

конце 40-х годов в Москве, в среде бывших эмигрантов: “– Иван Алексеевич [Бунин. – А.Ш.] помогал многим, никому не отказывал. А люди, сами знаете, какие: со всех сторон на него наседали. Слышал, в его доме нетолченная труба прихлебателей! – заговорил Рощин” (Дорба Иван. Бунин, граф Игнатъев и другие). Здесь уже прямое воспроизведение беседы с теми же характеристиками оборота, причем говорят не герои Салтыкова-Щедрина, а реальные люди, жившие в первой половине нашего века.

К сожалению, более поздних примеров обнаружить не удалось, но и эти убедительно показывают, что в первой половине XX века фразеологизм, не требуя специальных объяснений, свободно употреблялся в устной и письменной речи (т.к. перед нами есть фиксация разговорной). Поэтому было бы правильнее называть его не устаревшим, а устаревающим. Его промежуточное положение и породило разногласия словарников по поводу употребления пометы *устар.* Оно же объясняет отмеченную в самом начале заметки странность поведения *нетолчёной трубы*. Текст, как более консервативный способ реализации языка, фразеологизм еще фиксирует, а динамичная, сиюминутная разговорная речь – нет. Текст переживает звучащую речь и, тем самым, буквально на наших глазах превращает разговорный оборот в книжный. Поэтому неудивительно, что основная масса носителей русского языка, присутствуя при этой трансформации, выражения не замечает, а следовательно, не включает его в разряд активно используемых.

Теперь попытаемся разобраться в истории происхождения *нетолчёной трубы*, которая скрывается за многообразием существующих и исчезнувших значений слов, из которых состоит выражение. К *трубной* теме мне уже приходилось обращаться (см.: Пройти огонь, воду и медные трубы // Русская речь. 1995. № 5), и еще тогда поразил широкий спектр значений этого слова и большое количество омонимов.

Кроме значений, отмеченных академическими словарями: полый предмет, обычно круглого сечения, для провода жидкости, пара, газа; духовой музыкальный инструмент; анатомический гермин; охотничий гермин (хвост лисы) и нескольких переносных, есть еще целый ряд диалектных, разговорных и жаргонных словоупотреблений (у представителей различных видов деятельности).

“Словарь русских говоров Новосибирской области” отмечает: “1. Устар. мера холста, равная приблизительно ста аршинам... 2. В трубе находится. Об участке реки в скалистых берегах” (Новосибирск, 1979). Евг. Иванов фиксирует слово в речи портных начала XX века: “Шмук с деньгами мне, а трубы – ветрогону” (Меткое московское слово. М., 1989), где *шмук* – остаток от материи заказчика, обычно присваиваемый портным, а *трубы* – узкий покрой брюк, сшитых для заказчика (ветрогона). Используют это слово преступники, умудряясь обозна-

чать им одновременно “вздор, пустяки; самовар, корова” (Словарь жаргона преступников. Блатная музыка. М., 1927). Встречается оно в приходе-расходной книге Нижегородского уезда (1612 г.), упоминающей следующие сборы: “За кабацкие суды, за кубы и за трубы, и с пива и с медов провозных денег” (Цит. по книге Прыжов И.Г. История кабаков в России. М., 1992). Кстати, уже отмеченное обозначение трубы-брюки в разговорной речи сохранилось и поныне, правда, теперь так называют не узкие, а наоборот, широкие брюки прямого покроя (Ср. в молодежной песенке: “Я надену трубы с парохода”).

Отдельная группа словоупотреблений связана с различными топонимическими объектами. От знаменитого не только в Москве имени *Трубной площади* – *Труба* (место старого птичьего рынка, получившее имя благодаря реальной трубе, в которую заключена Неглинная речка): “То отправимся на Трубу карликовых попугаев-неразлучников в подарок племяннице покупать” (Саша Черный); “Раз я был на Трубе и услышал” (М. Пришвин); “Идешь, бывалоча, на Сретенку Трубой” (С. Гринберг) до многочисленных нарицательных обозначений проспектов, улиц и подземных переходов в разных городах: “И вот с привычной покорностью вглядываюсь в подсвеченную запотевшими фонарями трубу проспекта...” (Вл. Соболев). Устойчивость подобных употреблений позволяет отнести их к числу распространенных среди городских жителей и давних традиций.

Широкий разброс значений слова *труба* и производных от него способствовал его включению в самые разные устойчивые выражения. Кроме двух уже отмеченных можно вспомнить: *трубить (дуть) в кулак* “заниматься заведомо бесплодной деятельностью” (Мокиенко В.М. Славянская фразеология); *дело труба* “плохо”; *держи хвост трубой* “держись уверенно”; *иерихонская труба* “очень громко”; *вылететь в трубу* “разориться”; *трубит труба* “призыв к чему-либо”: “Я боялся только одного: вдруг что-то где-то произойдет, вдруг протрубит труба для таких, как я – а я окажусь не готов” (Кравченко В. Ужин с клоуном); “Это надо в трубе мелком (угольком) записать (пищи – пропало)” (Михельсон М.И. Русская мысль и речь) и др.

Какая же *труба* называется *нетолчёной* и скрывается в этом напояющем частый лес многообразии прямых и переносных, свободных и фразеологически связанных, общеупотребительных и узкопрофессиональных значений? Попытаемся действовать методом исключения, памятуя о том, что первоначальное значение могло трансформироваться, и обратимся к мнению авторитетов. Трудно себе представить *нетолчёными* (равно как и *толчёными*) музыкальный инструмент, лисий хвост, меру холста, брюки, пустяки, самовар или корову и попытаться возвести фразеологизм к этим значениям. Но вот, скажем, *воду в ступе* (в рамках фольклорной смеховой культуры) толкли, а рынки (мик-

рогониимические объекты) до сих пор называют *толкучка* или *толчок*. Разгадка, вероятно, в аргументации выбора между двумя значениями: “полый предмет для провода жидкости” и “имя городской улицы, площади”. Помочь в этом сможет значение слова *нетолчёная*.

В отечественном языкознании уже есть высказывания в пользу первого и второго вариантов прочтения *трубы*. Рассмотрим их. 1) “*Народ, как в трубу, или труба трубой валит. Там народу труба не толчёная (не торёная). Не улица, это, труба, узкая, тесная*” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. IV); 2) “**Труба не толчёная** (народу) – о множестве собравшихся людей. Ср. “*Народ труба трубой валит*”, – как *трубой* бежит (как вода из водосточной трубы) (...) *Труба не толчёная* (не торённая, тесная, через которую не протолкаешься), иноск. – масса народу, остановившаяся за невозможностью протолкаться вперед» (Михельсон. Указ. соч.).

Обращают на себя внимание явные текстовые переключки между двумя комментаторами. Вспомним, что первое издание словаря В.И. Даля вышло в 1863–1866 годах, а “Русская мысль и речь” М.И. Михельсона увидела свет в 1902–1903. Но в данном случае неважно, использовал ли М.И. Михельсон именно эти материалы В.И. Даля (на что имел полное право), или просто оба автора, отстоящие друг от друга почти на полстолетия, находились в одинаковом языковом окружении и с равноценной чуткостью относились к звучащей вокруг речи. Я разграничил два эти предположения только для того, чтобы подчеркнуть: окажись верным второе – перед нами лучшее свидетельство активного и свободного употребления *нетолчёной трубы* в разговорной речи на протяжении всего XIX и начала XX веков. Существенное иное – насколько мотивировано расширение комментария у М.И. Михельсона... Ключ к ответу на вопрос, возможно, находится в частичной противопоставленности двух типов подачи материала – описании нетолчёной трубы. В.И. Даль использует синонимические соответствия, а М.И. Михельсон добавляет к ним указание в виде попутной заметки “как вода из водосточной трубы”, которую, судя по всему, и сам не воспринимает как окончательное решение вопроса.

М.И. Михельсон, несомненно, прав в том, что *нетолчёная труба* – переносное (иносказательное) употребление какого-то исходно свободного словосочетания. Но вот какого? Весьма проблематично возводить его к выражениям типа *толочь воду*, так как в этом случае должен был бы сохраниться ощутимый оттенок взаимодействия со смежной культурой, или *водосточной трубе*, ведь в последней вода *течет, бежит...* но уж никак не *толчется* или *торится*. И тут на помощь приходит комментарий В.И. Даля. Его описание оборота содержит две очень важные синонимические параллели: *толчёная* = *торёная*, то

есть проложенная, и улица = труба (Ср.: *Где торно, там и просто-рно* – выражение у обоих исследователей дано в тождественной огласовке). Истинность этих эквивалентов подтверждается фактами истории и современного русского языка, сохраняющего последнее словопотребление и расширяющего диапазон его применения на новые реалии: *труба* – не только улица или проспект, но и подземный переход. А от этих синонимических пар всего один шаг до предполагаемого исходного значения фразы.

*Нетолчёная труба* – буквально, непроторённая, непроложенная, необустроенная, или даже несуществующая (видимая только в проекте) улица, то есть место, не отвечающее требованиям хорошей улицы, по которому трудно пройти, отсюда возникают заторы и скопление людей, транспорта и т.п. Впоследствии образ такой “непроходной” улицы был перенесен на скопление народа в каком-то месте и стал фразеологическим обозначением любого большого количества людей, находящихся в помещении. Метафорическая замена и выход из употребления глагола *толочь* в значении “торить/прокладывать” стерли живое восприятие словосочетания в сознании языкового коллектива, превратив его во фразеологизм. Дальнейшая судьба – перемещение из разговорной сферы в книжную.

Но сколь бы ни казался убедительным предложенный в заметке вариант истории возникновения *нетолчёной трубы*, до окончательного ответа еще далеко, и один из возможных пугей его достижения – выявить последовательность развития многочисленных значений слова *труба*. Это тем более актуально, что сама *труба* продолжает активно расширять круг своих значений и подчас обретает характер абстрактного символа: “А вот вы сказали – выход, – спросил Модерати. – А из чего? – Из чего бы то ни было. Изначально и без конца. Разве вы не заметили? Из трубы, Петр Федорович, из тотальной, всемирной трубы” (Саша Соколов. Палисандрия).

*За знакомой строкой*

## **Человек в футляре**

Г.В. БОРТНИК,

кандидат филологических наук

Многие перифразы, созданные русскими писателями в XIX веке, органично вошли в современную речь и в словарях наших дней представлены уже как общеупотребительные фразеологизмы. Рожденные талантом Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Горького и других русских писателей, они, прежде чем попасть на страницы словарей, прожили долгую жизнь в творчестве публицистов XIX–XX веков. Авторитет публицистики сыграл свою роль в том, что значение отдельных фразеологизмов, восходящих к авторским перифразам, сложилось не под влиянием художественного контекста, в котором они родились, а, главным образом, под воздействием содержания публицистических статей.

Возьмем, к примеру, чеховского *человека в футляре*. Эта перифраза, как и герой одноименного рассказа А.П. Чехова, часто встречается в публицистических произведениях начала века. Естественно и закономерно, что в предреволюционных сочинениях акцентировались не психологические составные “футлярного” существования, а социально-словесные. Так, для вождя российских социал-демократов *человек в футляре* как общественный тип – это “хлюпки из буржуазной интеллигенции, которые подпевают буржуазии”. Обличая с партийных позиций “застывших человек в футляре, не видящих дальше своего носа”, публицист клеймил их, “жалких” за то, что они стояли “далеко в стороне от жизни”. Столь же явный крен в сторону партийно-классовых оценок человека в футляре прослеживается и в статьях его соратников – Воровского, Луначарского и др.

Представленный практически во всех толковых и фразеологических словарях со ссылкой на рассказ А.П. Чехова фразеологизм *человек в футляре* в своем содержании все же более ориентирован на то значение, которое придано ему в работах Ленина, Воровского, Луначарского и близких им публицистов и литературных критиков. Наиболее пространно семантизирован этот фразеологизм в Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова: “Человек в футляре – перен. Человек, замкнувшийся в кругу узких обывательских интересов, боящийся всяких нововведений и оценивающий всякое дело с казенной, формальной точки зрения (по названию рассказа А.П. Чехова)”.

Статьи прочих толковых, а также фразеологических словарей представляют, по сути дела, вариации приведенного толкования. Однако некоторые словари, вышедшие в последние десятилетия, более самостоятельны в определении качеств *человека в футляре*, например, “Крылатые слова” отмечают, что *человеком в футляре* “называют человека, боящегося всяких новшеств, крутых мер, очень робкого, подобного учителю Беликову, изображенному в рассказе А.П. Чехова”. И в лингвострановедческом словаре В.П. Фелициной и Ю.Е. Прохорова “Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения” толкование фразеологизма также свободно от видимого подчеркивания сословно-классовых качеств в человеке: “Человек в футляре... говорится шуточно или иронически о человеке замкнутом, подозрительном, трусливом, который всего боится”. Однако и здесь иллюстративная цитата акцентирует отрицательно оцениваемую “социальную анахроничность” *человека в футляре*: «Если иной раз появляется “человек в футляре”, он выглядит среди нас социальным анахронизмом» (Кирсанов. Советский образ жизни).

Закономерно, что иллюстративные цитаты из произведений русских писателей, приводимые в словарях параллельно с пространными ленинскими цитатами, столь кратки, что не позволяют сопоставить значение фразеологизма в следующих примерах со словарным толкованием: “Вы человек в футляре, картонная душа, папка для дел” (Лавренев. Рассказ о простой вещи); “Он напоминает ей чем-то чеховского человека в футляре” (Коптеева. Иван Иванович). В связи со сказанным представляется небезынтересным выяснить, какие человеческие проявления отмечают у своих героев Б. Лавренев и А. Коптеева.

*Человеком в футляре, картонной душой, папкой для дел* именуется подпольщик Орлов белогвардейского следователя Тумановича. Автор и другие персонажи называют его *мудрый муравей, твердый человек, слишком европеец*, который за “всякие процессуальные нормы”. Поступки Тумановича свидетельствуют о его смелости, решительности, благородстве.

В романе А. Коптеевой слова *человек в футляре* относятся к хирургу Гусеву и связаны прежде всего с внешним восприятием его личности: “опытный, но осторожный врач”, “пугливый перестраховщик”.

Таким образом, в художественных текстах подчеркиваются психологические, а не социально-классовые аспекты “футлярности”. И это поддерживает сомнения в точности семантизации чеховской перифразы словарями русского языка.

Филологическая реабилитация чеховского героя, освобождение Беликова от навязываемой ему роли активного носителя злой социальной воли начинается уже с традиционного при лингвистическом анализе внимания к антропонимам. Общеизвестно пристрастие А.П. Чехова

при выборе имен для героев своих произведений. Страницы его записных книжек хранят немало странных, причудливых фамилий или нарицательных обозначений лиц, нередко сопровождаемых сословными, профессиональными, национальными или половозрастными характеристиками, например: *дворянин Дрекольев, провизор Проптер, дьякон Катакомбов, актриса Гитарова, вечный студент – Кит; маленький, крошечный школьник по фамилии Трахтенбауэр; мадам Гнусик, тетюшка из Новозыбкова, чех Вишечка* и т.п. Писатель словно “примеривает” имя к своему будущему герою, “прикидывает”, кому подойдет то или иное из них, например: “Для водевиля: Фильдекосов, Попрыгуньев”. В обозначении персонажа писателя занимают не только формально-звуковая сторона, но и содержательная, связанная прежде всего с этимологическим значением, которое у Чехова, как и у других писателей, нередко выполняет функцию скрытой исходной характеристики.

В рассказе “Человек в футляре” антиподами оказываются герои с частотными, нейтральными фамилиями, типичными для их этнических показателей: русский *Беликов* и украинец *Коваленко*. Однако эlegantным намеком, сразу же “обеляющим” неприятного “фискала” Беликова, выступает символика цвета, которую можно усмотреть в его фамилии. Белый цвет, как известно, цвет чистоты и невинности.

В отличие от Беликова, Михаил Саввич Коваленко назван полным паспортным именем. Главная характерологическая нагрузка приходится не столько на фамилию, сколько на имя и отчество (*Михаил от свр.* “богоподобный”, *Савва* от араб. “старец”). И если чистота и невинность Беликова далеко не самоочевидны, то “богоподобность” Коваленко подтверждается сразу же безбоязненностью тех оценок, которые он дает коллегам: “Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке”. Столь же резок Коваленко и в характеристике Беликова: “Не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу”. Он называет коллегу и “Иудой”, и “глитай абыж павук” (укр. кулак, мироед, живоглот или паук).

Обвинительным лейтмотивом во всех этих характеристиках является предполагаемое в Беликове доносительство, которого опасаются сослуживцы и горожане. А между тем в рассказе не говорится о том, что по вине Беликова пострадал кто-нибудь из них. Впрочем, может ли быть деликатным, объективным и психологически точным в своих характеристиках Коваленко? Думается, что А.П. Чехов не случайно сделал его учителем географии и истории. Как и другие педагоги, Коваленко, наверное, читает Бокля. (Вспомним ироническое замечание Чимши-Гималайского: “Да мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее ... а вот подчинились же, герпели... То-то вот оно и есть”.)

Если же Коваленко исповедует взгляды Бокля (Бокль Генрих Томас,

1821–1862, англ. историк и социолог-позитивист, председатель географического детерминизма), то его, как и других позитивистов, занимает лишь внешняя сторона. Потому-то Михаил Саввич и не стремился разобратся в глубинных основах и скрытых причинах странностей Беликова. А вот “не естественник” Буркин более склонен к глубинному объективному анализу. Беликова он относит к людям “одиноким по натуре”.

Описывая Беликова, автор использует вместо его фамилии перифразы: *человек в футляре; человек по натуре одинокий; человек, который ходит в калошах и с зонтиком; странный человек; человечек* и т.п. Нетрудно заметить повторяющееся слово *человек*. Это же понятие встречается и в надписи “влюбленный антропос”, которую проказник поместил под карикатурой на Беликова. Не обходится без слова *человек* и сам Беликов в своей характеристике: “Я ... все время вел себя как вполне порядочный человек”. Да и древнегреческое слово *антропос*, которое любил повторять учитель древних языков, не кажется в этом ряду случайным. Столь же не случайно и то, что Беликов преподает древние языки. Рассказчик Буркин объясняет интерес Беликова к древним языкам любовью к прошлому, стремлением отгородиться от действительности, “которая раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге”.

Глаголы *раздражать, пугать, тревожить*, которые выражают отношения Беликова к действительности, рассказчик употребляет без дополнений. Можно только догадываться о том, чего не приемлет в жизни, в существующем мире странный учитель древнегреческого языка, языка античности, которая провозглашала мерой всех вещей человека. Гуманистические и героические идеалы античного наследия были во все времена идейным арсеналом личности, не удовлетворенной действительностью. Так, декабрист И.Д. Якушкин признавался: “Мы страстно любили древних: Плутарх, Т. Ливий, Цицерон, Тацит были у каждого из нас почти настольными книгами”. Однако в мировой литературе героическая, гуманистически настроенная личность далеко не всегда была фигурой респектабельной. Например, в русской литературе начала XX века М. Горький доверяет пьянице босяку Сатину в застольном монологе в ночлежке восславить человека: “Человек! Это великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век!” Потому можно предположить, что тип нелепого мечтателя-гуманиста, кочующего из века в век из одной национальной литературы в другую, в 1896 году в России предстал в образе чеховского учителя древнегреческого языка.

Бесчеловечность мира, в котором существует странный учитель, подчеркивается теми номинациями, которые использует рассказчик, говоря об окружающих Беликова лицах. Они названы, на первый взгляд, нейтрально: учителя, педагоги, чиновники, духовенство, директор, попечитель; дамы, товарищи, народ. Однако именно в слове *народ*

и “затаилась” скрытая оценка тех, от которых Беликов стремится отгородиться. Противопоставление просматривается в отказе от слова *люди*, обычной пары по числу к слову *человек*. Будучи синонимами, слова *люди* и *народ* все же различаются по оценке, что находит отражение в поговорке *Много народу, да людей нет*, а также в устойчивом сочетании *выйти в люди*.

Исходные декларативные оценки народа, выраженные прилагательными *мыслящий, порядочный*, по ходу повествования опровергаются рассказом о поступках и помыслах этого народа. Рассказчик Буркин назовет педагогов напряженно скучными, “которые и на именины-то ходят по обязанности”. В какой-то момент целью существования педагогов становится устройство “глупого, ненужного брака” между Беликовым и Варенькой. Обсуждая Беликова за приверженность циркулярам и правилам, “порядочный народ” полагает за добродетель жить по двойным стандартам, нарушая тайком писанные и неписанные законы. И, конечно же, такому “мыслящему народу” трудно понять, почему “всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил (заметим – не от циркуляров!) приводят Беликова в уныние”.

Для не ведающего сострадания народа загадкой остается и то, почему он держит в своем доме не искусную кухарку, а неумелого, вечно нетрезвого, полоумного ветерана Афанасия, которого обоснованно боится. Объясняя поступок Беликова с позиций своей пошлой морали, педагоги и не подозревают, что учитель древнегреческого просто жалеет старика. У народа, жаждущего безнравственных развлечений, вызывает раздражение непонятная нерешительность Беликова, который не спешит сделать предложение Вареньке. Эгоистичные, бездушные, трусливые горожане так и не поняли, почему умер тот, над кем они безнаказанно потешались. А эта смерть, только кажущаяся загадочной, подобна, в сущности, самоубийству. Лишенные самокритичности люди так и не осознали, почему не изменилась их скучная, серая жизнь и после смерти Беликова, который олицетворял для них все зло и все запреты.

В рассказе А.П. Чехова есть ответы на многие вопросы, как есть и основания для утверждения, что в нравственном отношении Беликов выше тех, кто его судит и окружает. Чеховский влюбленный антропос – это отнюдь не “бесчувственная, механическая фигура”, не “внутренне мертвый человек”, как утверждает литературоведение. Чеховский Беликов не трусливый рационалист, как это кажется городским дамам и гимназическим товарищам. Просто, выделив среди окружающих его скучных, неискренних людей внешне совсем непохожую на них Вареньку, Беликов со временем понимает, что и она чужда ему, ибо столь же расчетлива, бездушна, легкомысленна, как другие (*Варвара* от греч. *варвар* “чужой”). Не смея поставить своим отказом Вареньку в неловкое положение отвергнутой невесты, деликатный чело-

век в футляре мужественно тянет жениховскую ляжку, сопротивляясь матримониальным хлопотам сослуживцев.

И все же неосторожное эмоциональное внимание Беликова к Вареньке стало причиной колоссального скандала. Слово *скандал* выделено Чеховым в тексте графически. Оно восходит к греческому, где имело значение “западня, ловушка; соблазн, досада”. В древнерусском слово *скандал* нередко и переводилось как “ловушка, сеть; соблазн”. Вот и получается, что, не удержавшись от соблазна найти в Вареньке близкого человека, прекратить свое одиночество, Беликов, дважды публично оскорбленный, осмеянный и окончательно разочарованный и в людях, и в жизни, умирает.

Получив карикатуру, Беликов испытывает сильные чувства. Буркин определяет их прилагательным в превосходной степени: “карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление”. Да и лицо человека в футляре, как ни прятал он его в футляр, было лицом оскорбленного и старающегося: “Губы его задрожали, он стал зеленый, мрачнее тучи, а затем из зеленого стал белым, точно оцепенел”. И отчаянный крик Беликова: “Да как же это можно?” – это не страх при виде Вареньки на велосипеде. Этот крик – крик боли и разочарования в черствой легкомысленной барышне. А когда Коваленко в глазах у хохочущих дам спускал Беликова с лестницы, Чехов впервые ввел в рассказ Буркина несобственно-прямую речь. Появляется возможность оценить мысли и переживания Беликова без посредников и интерпретаторов: “Лучше бы ... сломать себе шею... чем стать посмешищем: ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя... нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку”. Терзания Беликова – это терзания гордого оскорбленного человека, а страх – это страх осмысленный. Он иной, чем страх “мыслящего народа”. Если “народ” боится своих реальных или мнимых прегрешений, опасается жалкого и смешного человека в футляре, то сам-то этот человек страшится своей зависимости от воли равнодушных людей, наделенных реальной властью. Вот почему безволие, пассивность Беликова нравственнее, если так можно сказать, чем бездействие и страх других.

Рассказывая о похоронах Беликова, Чехов подчеркнет, что хоронят человека достойного. Ведь, по поверьям, пасмурная погода в день похорон – это знак того, что покинул мир человек хороший.

В чеховском рассказе перифраза *человек в футляре* многозначна: одно значение она имеет в повествовании Буркина и совсем другое – будучи заголовком рассказа. Здесь существительное *человек* выступает в обобщенно-собирательном и одновременно распределительном значениях. Говоря о *человеке в футляре*, “Чехов выделяет из хаоса явлений, представляемых действительностью, известный элемент и следит за его выражением в разных натурах” (Овсяннико-Куликовский

Д.Н. Литературно-критические работы. М., 1989. Т. 1).

*Человек в футляре* – это состояние не одного лишь Беликова, это и состояние его товарищей-педагогов. *Человек в футляре* – это свойство тех, кто не желает освобождаться от бездуховности, кто доволен сытой, пустой жизнью. *Человек в футляре* – это, в конечном счете, характеристика всего общества, где кто-то, как беззащитный Беликов, прячет себя в футляр, чтобы сохранить в себе человека, а кто-то придумывает футляр для того, чтобы не обнаружить свою дурную, порочную суть.

Приговор принятому всеми футлярному существованию А.П. Чехов представляет в пространной заключительной тираде резонерствующего Чимши-Гималайского: “А разве то, что мы... пишем ненужные бумаги, играем в винт – разве это не футляр? А то, что мы проводим жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр?..” Повторяющееся здесь местоимение *мы* не включает в себя уже умершего Беликова. *Мы* в речи Чимши-Гималайского – это *я*, *вы* (Буркин), *они* (народ), *он* (“некто из поучительной истории”, которую хочет рассказать ветеринарный врач). Местоимение *ты* возникнет в речи рассуждающего позже, когда послышатся шаги Мавры, которая в начале рассказа вместе с Беликовым причислена к разряду странных людей. Это местоимение *ты*, конечно же, обращено к Беликову: “Видеть и слышать, как лгут и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей и самому лгать, улыбаться, и все из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, – нет, так жить больше невозможно!”

Горькая чеховская ирония, скрытая оценка “народа”, по правилам которого не захотел жить учитель древних языков, просматривается и в том, что диагностировать нравственную болезнь общества дано врачу ветеринарному.

Возникшее в рассказе А.П. Чехова выражение *человек в футляре* пополнило собой словарный состав русского языка. Как и любая другая языковая единица, оно в различных контекстах может иметь различный актуальный смысл. Например, его использовал сам Чехов, характеризуя себя: “Я сплю в шапочке, в туфлях, под двумя одеялами, с закрытыми ставнями – человек в футляре” (Письмо к М.П. Чеховой от 19 ноября 1899 года). И весьма сомнительно, что, подразумевая у человека в футляре Беликова те злобещие качества, которыми наделяют его публицисты, литературоведы и отчасти лексикографы, писатель стал бы использовать перифразу *человек в футляре* для собственной, пусть даже шуточной, характеристики.



## Вась-вась

Е. А. ЛЕВАШОВ.

кандидат филологических наук

Язык в выборе личных имен, которые наделяются нарицательно-оценочным смыслом, неизъяснимо прихотлив. Когда-то таким именем был *Иван*, отчасти *Петр* (поговорка “Иван кивает на Петра”). Что касается фамилий, среди них язык сделал давний (с прошлого века) и четкий выбор: *Иванов*, *Петров*, *Сидоров* – устойчивая триада распространенных русских фамилий, которым – обязательно в совокупности и обычно при этом порядке слов – он придал фразеологический смысл: обычный человек; каждый из нас (см. статью о фразеологизации этого фамильного единства – Русская речь. 1994. № 3). С личными именами иначе.

Сейчас своеобразным фаворитом среди имен в непринужденной речи стало имя *Вася* (от полного Василий). Вспомним поэму А. Твардовского “Василий Тёркин” (о веселом и неглупом в жизни солдате Отечественной войны), послевоенную песню “Вася-Василёк”. Современные примеры: “Индивидуальное авторство – оно юридически, может, и есть, поскольку платят гонорар, но в философическом смысле совершенно не обязательно знать, что сочинил это Вася, а не Петя” (Независимая газета. 1996. 5 дек.); «Помню свой недавний телефонный разговор с бывшим депутатом горсовета, занимавшимся жилищной политикой...: – Реформа делается для всего населения города, а не для конкретного Васи, – обрезал он. Левые во всю кричат о геноциде. Зря. Просто, проводя глобальные реформы, не принято думать о “Васях»” (Вечерний Петербург. 1997. 14 мая). В этих примерах Вася – ничем не примечательный, олицетворяющий рядовое население человек (как и Тёркин).

Давно также приобрело поговорочный смысл крыловское “А Васька слушает да ест”. Оно даже дало неожиданную окказиональную “метафразу”: «Можно же было все предусмотреть заранее. Ведь за каждым таким фактом стоит живой советский человек... Воистину “а Васька слушает да ест”. Еще один пример “васькизма»” (Правда. 1989. 16 дек.).

У всех на слуху двойное именное слово “вась-вась”. Единично оно

встречается в текстах почти 30-летней давности: “Он с газетчиками дружит, прямо вась-вань” (Зверев. Романтика для взрослых). И до недавнего времени оно вроде бы еще не порвало связь со звательной формой от *Вася*: «К другому никак не подъедешь. А угостишь его... – и ты уже с ним “Вась-Вась”» (Неделя. 1982. № 43).

И все-таки уже можно говорить о появлении в устной речи новой устойчивой единицы. Ее обычное употребление – в значении сказуемого (“в коротких, своих отношениях”): «Уехал Кирпич (прозвище персонажа) отсюда на новеньких “Жигулях”. Почему? Да потому, что с Авдотьиным они вась-вань» (А. Попов. Крутые дела // Аврора. 1989. № 5). О живом смысловом развитии “вань-вань” в сторону существительного говорит пример: “Я думал, он вась-вань... – Точно, посмотришь, дак вась-вань. А он, оказывается, какой: сказал – завязал” (Неделя. 1984. № 25).

Лексикографически “вань-вань” впервые – еще глухо, без подтверждающего примера из текстов – отмечено в издании “Новое в русской лексике. – Словарные материалы-78” (1981 г.), а уже с полной обработкой – в словарях “Новые слова и значения. Словарь-справочник... 80-х годов” (1997) и в “Словаре новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов)” (1995). Таким образом, “вань-вань” окончательно конституировалось в русской лексике и лексикографии.

Возникнув в простонародной среде, выражение “вань-вань” обогатило устную речь выразительным средством номинации. Оно – из тех неологизмов, которые новы по структуре, но не новы по содержанию. Составленное из двойного личного имени, оно не поддается дословному, а только объяснительному переводу на другие языки. Оборот и нов, и уникален по структуре: “вань-вань” – сдвоенная звательная форма личного имени (ср. сходные по структуре, но не существующие в языке в качестве устойчивой единицы: *петь-петь, валь-валь, коль-коль, борь-борь, толь-голь*). “Повезло” почему-то только *Васе*.

Санкт-Петербург